АНАТОЛИЙ ГОРДИЕНКО

МИНУТА ЖИЗНИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«В книге рассказывается о нашем земляке Герое Советского Союза Николае Ивановиче Ригачине, повторившем подвиг Александра Матросова. Адресована широкому кругу читателей.»

- Анатолий Гордиенко
  -
  - По следам подвига
  - Об издании
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

Анатолий Гордиенко
Минута жизни

Тане — внучке Героя Советского Союза Николая Ригачина посвящается

Август выдался горячий. С утра выплывает белое солнце и жалит в голову. И ничто в степи не может защитить от лучей, прямых и коротких, будто нож.

Ярко-синее небо режет глаза.

Земля на переспевшем пшеничном поле вся в мелких трещинах, как старческая ладонь.

Муравьи толкутся, пятятся и снова пытаются пройти по знакомой дороге. Новые бегут, бегут цепочкой — ищут выхода, а трещины разбили землю на квадраты, как на карте у батальонного.

Николай долго смотрит и наконец вырывает пересохший, стоящий над окопом сиротливый стебель пшеницы. Тяжёлый колос пригнул стебель к земле, и он похож на дымный след ракеты. Так показалось уставшему Николаю вчера вечером, когда он, занимая оборону, увидел тёмный контур колоса на красном закате.

Крепкими прокуренными ногтями Николай разорвал стебель и сделал из него мостик через расщелину. Муравьи потолкались возле стебелька, но выходить из квадрата не решились.

— Колька, на яблоко! — кричит Саня Любченко.

Николай, пригнувшись больше для взводного, чем для дела, бежит к нему.

— Рано заправляешься, Любушка.

— Снится мне сон, понимаешь-нет, — говорит Любченко, быстро вытирая о гимнастёрку зеленоватое яблоко. — Антоновка ещё не в пору, — кривится он. — Снится мне, что вроде бы я дома, понимаешь-нет. И мать вроде бы к столу меня с поклоном просит: «Сашок, сыночек мой, не забыл про мать, приехал».

И всё в хате мне вроде незнакомо. На образах в углу широкий рушник, есть у нас такой — красные девки стоят с коромыслами у криницы, мама вышивала давно, невестою. Сижу я за столом. Чистый сижу, умытый, читаю на рушнике: «Не красна хата углами, а красна пирогами».

Тут меня Грищенко разбудил… Понимаешь-нет, он вчера в деревеньке у деда выдурил полпротивогазной сумки самосаду. Ну, пришлось мне, значит, для обмена с ним за яблоками в сад ночью сбегать. Теперь и яблоки, и табачок у нас… Угощайся.

— Жара-то сегодня, Саня…

— Глянь, Семёныч идет…

Из канавы, из молодого орешника, отделявшего сад от пшеничного поля, вышли комиссар Тюков и взводный Ермилов.

Николай хотел было бежать в свой окоп, да пока раздумывал — начальство рядом.

— Взвод, ко мне! — крикнул младший лейтенант — высокий, худой паренёк.

Подошёл комиссар, человек немолодой, степенный, неторопливый, до невозможного сощурил глаза — очки потерял ещё где-то под Каменец-Подольском — и от этого казался добрым, беззащитным. Все знали, что родом он из Саратова и на гражданке работал не то в горсовете, не то в потребсоюзе.

Подошли ещё шестеро — всё, что осталось от взвода.

— Угощайся, Семёныч, — и Саня протянул комиссару противогазную сумку с табаком.

— Да, не велик актив, — вздохнул тот в ответ.

— А ты что думал, нас за ночь прибыло? — угрюмо заметил седоусый Никитюк.

— Вот бумажка, закуривай, — и Любченко подал комиссару немецкую листовку.

— Ты где взял? — быстро спросил взводный.

— В саду, товарищ младший лейтенант! — как на плацу выпалил Санька.

У взводного не было щетины — не выросла ещё, не успела, — и все увидели, как он густо покраснел.

— Какая разница, где взял, — сказал Тюков. — Все мы тут знаем друг друга, с первого боя вместе. Это я тебе говорю, младший, ты человек у нас новый… — Семёныч придвинул к глазам листовку, стал неторопливо читать.

«Солдаты 12-й армии, вы давно окружены. Сопротивление бессмысленно…» Ну, дальше, как всегда, о политруках и евреях… А связи действительно с дивизией нет, где кто — тоже не ясно. Ясно одно — надо идти на восток.

— Ночью через село проехали какие-то сапёры, сказали — штаб в Первомайске, — первым нарушил тишину Николай.

— А я б двинул на эту, на Христиновку, — вставил Любченко.

— На кого ж мы ничь чекалы?[1] — спросил, заикаясь, Грищенко.

— Приказ комполка. Там пушки на себе тянут, раненых

вывозят… — ответил взводный.

— За ночь где бы уже были, — буркнул Николай.

— Ни жратвы, ни патронов, — ворчал Никитюк. — И окопались вдоль дороги, надо было к саду…

— Никак танки, — прошептал комиссар.

— По местам! — скомандовал младший лейтенант, странно округлив глаза.

Грищенко и Никитюк скрылись в первых окопах, им достались две последние связки гранат.

Николай переложил в нагрудные карманы две обоймы — весь запас, по привычке потёр прицел рукавом.

Осторожно приподнялся, раздвинул пшеницу. В густой пыли различил три танка и четыре грузовика с пехотой.

— Любаша, слышь, Любаша, — позвал Николай.

Санька тоже смотрел вперёд. И думал, что передним сегодня повезло, как никогда…

Первый танк загорелся…

Немцы повернули назад, забарабанил крупнокалиберный пулемёт. Николай, тщательно прицелившись, два раза выстрелил по передней машине.

Пехота метнулась к пшеничному полю, а два танка, разобравшись что к чему, пошли к саду, огибая дорогу.

Николай повернулся и осторожно привстал вровень с колосьями. Поодаль, над жёлтой замершей пшеницей, медленно поворачиваясь из стороны в сторону, плыла чёрная наклонённая пушка.

Первый снаряд разорвался около сада. Второй пролетел через дорогу. Сзади за спиной Николая быстро зашуршала пшеница.

— Отходи к саду! — послышался испуганный голос Любченко.

— Куда вы, ребята? — донёсся голос взводного.

Николай видит, как взводный поднялся в полный рост. Николай отрывается от земли и согнувшись бежит к саду.

— За Родину! За…

Николай, остановленный криком, оборачивается. Навстречу танку, вышедшему на просёлок, бежит взводный. Левой рукой он загребает воздух, правая рука с револьвером высоко вскинута над головой. Николай видит, как младший лейтенант успевает дважды ударить кулаком по чёрному лбу танка. В ту же секунду Николай оседает в пшеницу и с колена стреляет в чернеющий прямоугольник открытого переднего люка. Танк резко останавливается, Николай, петляя, бежит к саду. Сейчас должно что-то случиться, ну вот сейчас… Почему так непослушны ноги?

Пуля обжигает правую руку, пальцы разжались и выпустили

винтовку. Николай падает и ползком добирается до канавы.

— Скорей, телепень! — кричит Любченко и тянет его за собой по канаве сквозь густой чапыжник[2]. Ветки бьют по лицу, но Николай не чувствует этого. Гул стоит в ушах, кувалдой бьётся в груди сердце.

— Не могу! Передохнём!..

Режет глаза быстрый пот. Неожиданно канава кончается, и они сворачивают в сад. Пробежав ещё немного, падают на жаркую землю. Выстрелы доносятся всё реже, и скоро всё затихает. Тогда они молча идут по саду. Останавливаются у шалаша, видно, тут жил колхозный сторож. Курень из свежего сена, в серёдке тоже сено, по углам насыпаны уже начавшие гнить яблоки.

Тишина. Только оса жужжит равномерно, мирно. Да чудной незнакомый дух лежалых путимок.

— Я сейчас… — говорит Николай и засыпает…

…Тук, — падает на землю яблоко рядом где-то. И ещё падает, и ещё…. Ветерок лениво колыхнулся над головой, Санька приподнялся — никого.

— Чуешь, не спи…

Из куреня они вышли под вечер, когда жара малость спала.

Пить! Рука одеревенела и будто лишняя, чужая висит вдоль тела. Откуда-то потянуло острым дымом жнивья. Они постояли, посмотрели туда, где утром шёл бой. Стали спускаться в низину к высоким осокорям. Тут из-за старой, заботливо побеленной яблони им что-то крикнули. Один немец, стоя на четвереньках, нагребал в пятнистый рюкзак большие краснощёкие яблоки, другой, полулёжа, из-под руки навёл на них автомат.

— Ну вот и кончились мои мучения, — сказал Сашок, отчаянно рванул на груди гимнастёрку и пошёл на немца.

А Николай стоял как вкопанный. Голова его опустилась, глаза были закрыты. Не видно, что там у него на лице. Ждал. Тело враз обмякло, отяжелело. Выстрела всё ещё не было. Показалось, что стоит он вот так с опущенной низко головой очень давно. Будто кто-то поставил его так.

Потом шатнулся, поднял голову, разлепил тяжёлые веки. Всё качнулось, поплыло перед ним.

Он различил Сашка, идущего медленно-медленно, как по вязкому болотцу. Винтовка висела за спиной, как палка.

— Сашок! А я?

Николай побежал, отрывая от земли чугунные ноги, цепляясь каблуками за траву. Раненая рука моталась, неестественно отлетая в сторону. Боли не было.

— Стреляйте же, гады! — крикнул он. Догнал Сашка, схватился здоровой рукой за винтовку, дёрнул влево.

— Пуф! — крикнул немец, наводя автомат. — Пуф! — крикнул он второй раз, смешно надувая щёки, и бросил в Николая яблоком. Попал в голову.

Немец, собиравший яблоки, смеялся. Вначале тихо, затем громче, громче.

Хохоча, он поднялся, подал Сашку рюкзак, набитый яблоками.

Их повели по саду.

Николай шёл как мёртвый. Немец помоложе время от времени подталкивал его автоматом в спину.

Герой Советского Союза Николай Иванович Ригачин

Под осокорями стояли широкие приземистые машины, надсадно трещал движок радиостанции, дымила кухня и пахло гороховым супом.

Около кухни тлели угли большого костра. Немец бросил туда Санькину винтовку, предварительно по-хозяйски разрядив её. Потом он заскочил в фургон радиостанции, и оттуда выглянул пожилой офицер, кивнул головой: ему понравилось, что Любченко держит на плече пузатый рюкзак.

…Это была колхозная конюшня — длинная, сложенная из тонких пластин и горбылей, снаружи обмазанных глиной. Лошадей угнали на восток, видимо, давно. В конюшне было сухо. Знакомый запах конского пота, сбруи перемешивался с ароматом чебреца, полыни, сурепки, второпях набросанных под стенами.

Пленных было много. Все лежали, и трудно было понять — то ли они раненые, то ли так…

— Какого полка? — спросил Николай у маленького мужичка с перевязанной ногой.

— Всё того же, что и ты, — ответил тот нехотя, а потом крикнул вдогонку. — Откуда родом будешь?

— Карельский…

Подойдя к яслям, они увидели Тюкова. Он лежал бледный, с закрытыми глазами. Рядом с ним сидел черноволосый небритый военврач.

— Что же вы так, хлопцы? — сказал Тюков, не открывая глаз.

— С чем, Семёныч, пойдёшь на танки? — вздохнул Любченко садясь, подламывая ноги накрест. Тюков сжал зубы, проглотил слюну.

— Для вас я батальонный комиссар… мерзавцы…

Николаю показалось, что этот шёпот слышен был в обоих углах настороженной полутёмной конюшни.

— Ваши товарищи там, в пшенице… а вы…

Они отошли от Тюкова, опустились у противоположной стены. Посидев немного, Николай сковырнул со щеки засохшую кровь, поднялся и поковылял к соседу с перевязанной ногой.

— Поесть нету?

— Пятеро пошли в село, принесут скоро, — ответил тот и, разглядывая Николая, добавил: — Ты на него не имей зла. Ему жить-то, батальонному вашему, сам видишь, сколько осталось…

— Это чего же?

— Звезду нарукавную отодрать не хочет, уговаривали его тут…

— Шкура ты, — устало проговорил Николай и отполз от него к Саньке, который сидел неподвижно, прижавшись спиной к стене.

— Что будем делать, Саня?

— Я уж решил. Ночью убежим. Будем пробиваться к матери, в

Шибириновку…

— Значит, кончили мы воевать, так выходит?..

— Обмундировку обменяем, ночами будем идти. А дома, брат, заживём. Гальку, мою соседку, за тебя выдадим, живи — не хочу, понимаешь-нет…

— Да я чего, сам знаешь, какая родня у меня — ни отца, ни матери, ни дому, ни лому…

Перед конюшней в низкой загородке стоял старый колодец-журавль, впритык к нему длинное долблёное корыто, из которого пили пленные. Сашок выпросил у соседей фляжку, принёс воды, бережно обмыл руку Николая, перевязал чистым бинтом из нового индивидуального пакета.

— Пуля навылет прошла, Колюшка. Заживёт через пару дней, мух бы только не пустить на рану…

Перед закатом солнца всех построили во дворе, приказали вынести раненых, пересчитали.

Приказали выйти вперёд политрукам и командирам. Вышло четверо — двоих Николай не знал, третьим был военврач, четвёртым — Тюков. Комиссара поддерживал пожилой красноармеец в гимнастёрке, стоящей коробом от пота,

Было сказано, что если завтра не досчитаются хотя бы одного человека, командиры будут расстреляны.

Наступила ночь. Тихо вокруг. Кричат на речке коростели, в маленькие окна заглядывает холодный стеклянный месяц. Не спят многие, думают, прикидывают.

— Может уйдём, Коля, решили же?

— Ты снова за своё…

Николай выходит во двор. Небо усеяно сыпью красноватых дрожащих звёзд. Длинные тени от осокорей лежат на земле мёртво, печально. За спиной кто-то закричал во сне, крик этот подхватил другой голос, на минуту конюшня зашевелилась, закашляла.

Утром недосчитали двенадцати человек. Так же перед строем стояли четыре командира. Тот же пожилой красноармеец с воспалёнными глазами, широко расставив крепкие ноги, поддерживал Тюкова.

По приказу немца он подвёл Тюкова к конюшне. Правой рукой Семёныч упёрся в стену, левой быстро пригладил волосы.

— Вот так мы и умираем, ничего не сделав. Максим, жив останешься — скажи, в бою убили…

Тюкова расстреляли. А когда вышли за село, снова послышались выстрелы — раненых кончали. Так что напрасно колхозные бабы старались, две подводы снарядили, сена на воз побольше нанесли, чтоб не трясло на пересохших просёлках…

Пыль стоит на дорогах, солнце украинское затмевает. Навстречу танкам, обляпанным чёрно-жёлтыми крестами, навстречу грузовикам с короткими бульдожьими носами идут пленные.

Проходят по горящей земле — сёла горят, сады горят, горький дым от пшениц тучных режет глаза, и слёзы выели белёсые полосы на чёрных, небритых щеках.

Кто мог — шёл, кто не мог — вели под руки. Кто терял силы — падал.

И била в него немецкая пуля, входила в родную землю, обагрённая кровью.

Падали всяко, больше сердцем к земле.

Сколько их осталось лежать на дорогах, в кюветах, не обмытых, с не сложенными на груди руками, не закопанных…

Сколько их легло на пути к Бердичеву, Гомелю, Житомиру, Дарнице, Рославлю, Харькову. На пути к древнему украинскому городу Умани…

Горячая пыль колыхалась на древних шляхах Украины.

На окраине Умани, там, где во все стороны простёрлась золотая степь, перед самой войной выстроили большой кирпичный завод. Город строился быстро, кирпич только подавай. Люди издавна брали тут хорошую, красную глину. На ней и печи клали, сто лет стоят — ничего. Плетень, кошары, хлевы обмазывали. Под Казанскую, под Пасху да под Троицу полы мазали трижды — потом любых гостей принимать в такой хате не стыдно.

С годами ямы, где брали глину, сошлись в одну большую с вечно стоячей жёлто-белой водой. Когда начали делать кирпич, яму стали называть карьером. Глину возили к заводу на тачках и на подводах.

Построив новый завод, через весь карьер провели узкоколейку, и если сесть в пустую вагонетку, бегущую под уклон к месту выемки глины, то минут за пять можно перемахнуть весь карьер, а поперёк он метров четыреста. Так девчата заводские ездили всегда, с ветром да с песней.

А теперь в карьере лагерь военнопленных. 14 августа 1941 года сюда прибыло пополнение — небольшая колонна, в которой были Николай и Санька. У ворот, опутанных колючей проволокой, коридором стояли немцы. Обыскивали, забирали вещи, документы. Каждого записывали.

Свирский Иван Николаевич, 1895 год. Русский, беспартийный, рядовой. Любченко Александр Игнатьевич, 1917 год. Русский, беспартийный, рядовой.

— Просим извинения, я — украинец.

Ригачин Николай Иванович. Родился в 1919 году. Русский, рядовой, беспартийный.

Неподалёку по обе стороны стоят женщины с детьми, несколько стариков. Лица их застыли, глаза всматриваются: авось — свой, родимый…

Но больше узнавали у тех, кто был внизу, в карьере.

— Прилуцкие есть? Кто из Пирятина? Кировоградские где сидят? Чи е тут з Канева? Черниговские есть? Дядечко, вы не з Черкас часом?

Крики от темна и до темна над Уманьской ямой. Ходят по краю ямы женщины заплаканные, деды белобородые.

Немцы отгоняют их от лагеря, а они идут и идут, осипшими голосами продолжают звать своих.

Плакали за проволокой, а бывало — и радовались. Горе — оно со счастьем в обнимку ходит. Когда находили — отвечали родным тихо, чтоб не казнить душу товарищей.

Почти всегда немцы отпускали этих, обласканных судьбой, чтоб потом в селе, в доме своём, куда набьётся люду — сесть негде, счастливая жена плакала-причитала от радости и слух бы шёл красивый и невероятный.

Бывало ещё так, что, уходя, пленный обещал кровному другу своему выручить его, — «выписать» — называлось в лагере.

Придя домой, шёл со снохой или невесткой к старосте, самогон нёс, бумагу получал, орлом проштемпелёванную, и тогда шла-ехала женщина с бумагой той в лагерь выручать никогда ранее не виданного сына, мужа. Люди несли в котомках, корзинах нехитрую снедь, не найдя своих — отдавали чужим.

Дети бросали яблоки, огурцы, помидоры, зеленоватые терпкие груши-дички.

К проволоке приходила ежедневно старуха, может, нищенка, может, нет, про себя ничего не говорила.

— Глядите-ка, Артемиха пришла!

«Ар-те-ми-ха», — шёл радостный гул по толпе. Приходила она всегда с тремя холщовыми мешками. Тяжёлые, надетые крест-накрест, они гнули её к земле, тонкие порыжелые шлейки врезались в худые высохшие плечи.

Первым завсегда снимала она мешок с хлебом, пришёптывала:

— Не гнушайтесь, хлопцы, це куски от добрых людей… Ось картопелька[3] вам… А це кияшки[4] для пораненных…

Раненые лежали в южной стороне в нишах-пещерках, чтоб солнце не било по ранам, чтоб пить не так хотелось. Позднее сшили плащ-палатки, кто, конечно, добровольно дал. Бывало

всякое, кто палатку берёг на потом, к холодам, а кто гимнастёрку единственную отдавал на бинты.

Сшили воедино те палатки, закопали по углам узкоколейные рельсы, натянули пестрядинку — санчасть получилась. Докторов разных много, а ничего нет: ни йоду, ни ножовки — ногу или руку отрезать кому.

Доктора бегают, бегают. А солнце чуть поднимется, так весь лагерь стонет:

— Воды…

Воду привозили в старой нефтяной цистерне.

— Не беда, лишь бы мокрая!

Каин и Авель, так в лагере прозвали двух похожих друг на друга немцев-водовозов, которые каждый день подгоняли машину к проволоке, навинчивали толстый шланг и поливали стоящих внизу. Тут уж не зевай. Дурак рот подставит, умный — пилотку. Котелки отбирали при обыске, потому самым дорогим считалась в лагере банка, консервная или противогазная. Детей просили, те набивали их песком, бросали за проволоку. Редко из-за хлеба дрались, а из-за банок бывало. Имеешь банку — имеешь воду, жить будешь.

Первыми, как всегда, под обрывом выстраивались врачи. Они держали широкий мешок из противохимической зелёной накидки. А дальше уже кто как. Лес рук, капустное поле голов. Кто посильней, товарища на плечи вскинет, да мало таких было в конце августа.

Проведёт немец кишкой вправо — тысячи людей, как рожь спелая под ветром, колыхнутся вправо. А ему интересно, он сразу в другую сторону — и там крики, стоны.

…Санька с Николаем жили в западной стороне. Под обрывом места им не досталось, и обосновались они на небольшом холмике, когда зной — плохо, а ночью прохладно. Но вот как-то раз гроза случилась. Вначале плясали все от радости, а потом…

Обвалилась южная сторона, и раненые, схоронившиеся в многоярусных пещерах, были замурованы навек липкой пузырчатой глиной…

Сегодня дневалит Николай. Значит, он должен достать еду и, если повезёт, воды. Главное — высмотреть, откуда появится бабка Артемиха. Она никогда не приходит на одно и то же место — хочет, чтобы всем досталось, хоть помалу.

Николай приблизительно догадывался, где она остановится нынче. Догадывался не он один, и там уже кружили другие.

Ему достались две большие кукурузины, вторую он мигом спрятал за пазуху — отнимут лишнюю, и не пикнешь, объясняй, что на двоих. Беда пришла негаданно. Худой, горбоносый, с

горящими в чёрной глубине глазами, дежурный врач бросился к Николаю.

— Отдай, ты лишнее взял!

— Не твоё дело! — закричал Николай. — У меня друг помирает.

— Отдай раненым, товарищ, — и врач костлявой пятернёй скомкал ворот его гимнастёрки.

— Я тоже раненый… Показать?

Врач обмяк и, ссутулившись, медленно побрёл к «госпиталю».

Николай стал было рассказывать Саньке про случившееся, да вспомнил, что вчера присмотрел неподалёку на обрыве кустик лебеды. Он пошёл туда, лебеда была на месте, не зря, значит, мусором припорошил.

— Лебеда — корм первый сорт, — поучал он задумавшегося Сашка. — Аль ты всё спишь?

— Вон, послушай, как темнит, — сказал Саня.

Разговаривали начхим Пестрак и Васильич — старшина пулемётного взвода.

— Любил я этот ресторанчик, — гудел начхим в ухо лежавшему к нему спиной старшине.

— Как название, говоришь? — переспрашивал Васильич.

— «Арагви».

— Чудно как…

— Вначале я заказываю капусту квашеную с перцем. Затем икру паюсную — плошка стоит на льду, учти. Потом лобиа и, наконец, вместе с кахетинским Зюзя приносит цыплёнка-табака…

— Слышь, а как ты себе мыслишь, немец будет сидеть в том «Арагви»?

Пестрак ложится навзничь, заострившийся небритый подбородок торчит кверху.

Васильич подолгу рассматривает отросшие на ногах ногти и медленно обращается к Пестраку.

— Ты знаешь, немцы скоро начнут баланду варить. Ригачин, говорит, видел — котлы привезли вчера. Так ты нос не вешай, Ричард Максимыч.

Николай слушает разговор, щепочкой помешивая аккуратно нащипанную сизоватую лебеду. Потом незаметно отодвигает Санькины обмотки, будто будит его, из норки-тайника медленно достаёт серенькую прорезиненную упаковку от индивидуального пакета — весь запас их воды. Половину вливает в банку, размешивает щепочкой — борщ готов.

Саня поворачивает к нему голову и задумчиво цедит:

— Гляжу я на тебя, какое ж ты дерево, Микола. Поддакни Васильичу, ведь он же на тебя понадеялся.

Глаза у Николая вдруг начинают быстро моргать, и, на удивление самому себе, он вдруг кричит:

— Слышь, Ричард Максимыч, давеча видал. Их наши сгружали…

Сидящие рядом четверо связистов обрывают игру. С утра до вечера играют они в «козла». Карты крохотные, сделанные из разных бумажек, изучены на память: карта из голубого почтового конверта — дама пик, большинство карт — из немецких листовок.

Николаю чудно — по воду почти не ходят, едят одну траву, к проволоке ходят тоже редко.

Они молча выслушали, как Николай рассказывал про котлы, и, не сказав ни слова, стали играть дальше. Все четверо высокие и все какие-то большеголовые, но главная примета и предмет зависти западного угла карьера — целёхонькое обмундирование. У них были даже две пилотки на четверых.

Самый старший из них, с лицом, побитым оспой, нет-нет и прохрипит:

— Радио б…

Замолкал — будто захлёбывался чем-то клокочущим у него в середке. Радист поднимал голову, глядя в небо, слушал…

…Саньке с каждым днём становилось всё хуже. Два раза ночью Николай просыпался от его рыданий. Санька, весельчак Санька судорожно бился головой оземь, и слёз его нельзя было унять.

Назавтра Сашок ещё до восхода разбудил Николая.

— Отпусти меня, ради Христа. Картошки нарою, помидоров принесу…

— Ты же сам знаешь — шкуры в той команде состоят, ворюги… — отвечал Николай.

По лагерю, переступая через больных и раненых, обходя сторонкой здоровых, идёт вереница людей. Вчетвером, на старых рваных шинелях они носят мёртвых.

Бредут, спрятав глаза, молча выслушивая брань. Весь день «капут-команда» делает своё дело.

В конце августа в лагерь пожаловал какой-то чин. А дня через два стали строить новые вышки для охраны и ещё одну линию колючей проволоки. Николая зачислили в строительную команду. Приходил усталый, падал пластом. Когда темнело, он доставал из-за пазухи распухшими окровавленными руками картошку. Бережно считали, прятали в тайник. К ночи загорались несколько костров. Люди налетали мошкарой. Костры горели недолго: по

палочке, по травинке, по прутику приносили с собой ребята из рабочих команд, да так, чтоб, боже сохрани, не заметила охрана.

— Ты знаешь, Саня, линию какую-то чудную делаем, на столбах чашки навинчиваем — сигнализацию, видать, придумали. Сидит себе тот толстый, шнапс глотает, звоночек звонит — значит, «рус» лезет через проволоку…

— Поди сюда, Ригачин, начхим зовёт, — перебил его Васильич.

— Как подло, как подло, — корчился Пестрак. — Ведь они ток по проводам пропустят. Для зверей так не делают…

Неподалёку у сапёров закраснел костерок. Николай отсчитал семь картофелин.

— Две возьму начхиму, ты как, Саня?

— Мы вже его восьмой день годуем, — быстро заговорил Любченко.

— Сашок, не сердись, мы и так с тобой…

— Да ты погляди на меня, погляди… Матинко моя родная, что с твоим сыном сделали, — громко запричитал Сашок…

— Тихо. Кладу назад, — сказал, уходя, Ригачин.

С трудом пролез Николай к огню.

— Кто старшой?

Снизу отозвался голос.

— Я к тебе, — он сунул старшему дань — одну картошку.

Его пропустили нехотя. Старшой указал место.

Пекли картошку многие, и Ригачин, громко считая, чтоб все видели, положил свои четыре картофелины. Потом сел, поставил заслонкой ладони к огню, прислонился к чьему-то плечу и застыл, глядя в пламя.

— Ну, так вот, господа-товарищи, — заговорил старческий сиплый голос. — Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Это был «дед Колосок — умный голосок» — Емельян Нилыч Колосков, архангельский рыбак, известный в лагере сказочник и краснобай. С шуткой-прибауткой входил он в любой гурт, место ему давалось — к какому костру ни подойдёт, да и последним кусочком делились с ним — силу имел человек в слове своём.

Николай его слушал со странным чувством — родной был ему этот человек. Слова говорил знакомые-знакомые… И вставало Заонежье — тётка Марфа-вопленица из Зяблых Нив, столяр Зарубин из Повенца, мастер песни играть, самим напридуманные.

— Заходит солдат, казённый человек, в палаты королевские. Стража ему под козырёк честь отдаёт. В одну комнату влетает солдат — нету хрустального стаканчика с аленьким цветочком, в другую влетает — нету, в третью — тоже нету. Ну, ругнулся

солдат, значит, по-русски, крепеньким табачком-махорочкой. Вдруг голос куды какой чистенький-чистенький…

Плещет пламя перед прикрытыми глазами Николая, будто машут белым полотном. Бабы на лугу выбеливают полотна: кипятком с золой в долблёных колодах парят, а потом длинные-длинные стежки расстилают по траве. Мачеха берёт один конец, подняла, колыхнула — и побежала, побежала тёплая волна, пахнущая щёлоком, полынью и коноплёй.

Только начало сереть, только начали будить Типиницы звонкие петухи, а они с дедом уже на окраине села.

— Быстрее, ну быстрее, дедушка…

— Ништо, успеем…

На лёгкой волне низко лежит белёсый туман.

— О-го-го-го!

Онего, как море — ни конца, ни края не видать. Едут на Чёртову луду. Тихо-тихо. Наконец, лодка шуршит по камышам. Приехали.

Дед раскуривает трубку и забрасывает удочки.

— Деда, а кто Кижи построил?

— Церкву-то? Построил её русский мастер из нашего Заонежья, а звали его Нестор…

— А правда, что она одним топором срублена и вовсе без гвоздей?..

— Правда, внучек, правда. Построил Нестор церкву о двадцати двух куполах осиновых, а рьяной был — буде, прокричал, силу-то она, значит, у него взяла, церква-то. Потом, будто, добавил — одной такой на Руси стояти — и бросил топор в озеро.

— А есть бог на небе, деда?

Дед долго молчит, щурит глаза, вздыхает.

— Может и есть, кто его знает… Учись, учёные, они точно знают…

По небу пошли тучи, и Онего стал менять цвета: то васильковый, то зеленоватый, то как тусклое серебро.

Проходит минута, другая, третья, и к действительности Николая возвращает слепящий огонь. Это лучи прожекторов бродят по лагерю осторожно, медленно.

…Переночевать надо служивому. Заходит в одну избу.

— Можно, хозяюшка, на ночь?

— Коль добрый человек, чего же нельзя, можно, — а у самой зрак мутный, ведьмачий. Солдату, конечно, исть хочется страх. Глядь-поглядь — бутылку увидел.

— Чтой-то у тебя?

Бабка оторопела.

— Олей…

— Ну так стаканчик налей.

— Соколик ты мой, кулик долгоногий, волк-овчинник. Раззи можна? — ляскочет старая тут.

— Шельмуешь, ведьма. Это же олей — так стаканчик налей…

Выпил солдат всю бутылку…

Хохот стоит — просто любо, чернеют гогочущие рты.

Кто-то проталкивается к огню.

— Разрешите, разрешите. Владимир Васильевич, вы здесь?

К пожилому седоватому человеку наклоняется военный, худой, в ушанке-колпаке из гимнастёрочной ткани.

— Владимир Васильевич, все восемь благополучно бежали, зря вы не доверяете центру…

— Ну ладно, успокойтесь, милейший, это уж моё дело, доверять или не доверять. Вот послушайте старика. Удивительное сочетание народной мудрости и элементарного невежества…

Николай осторожно выгреб картошку, секунду раздумывал, куда положить: за пазуху или в карманы. Вынул тряпицу, завернул в неё горячие пахнущие кругляши, расстегнул ворот и осторожно положил их под гимнастёрку.

Закончили последнюю линию колючки. Теперь запрещено подходить к проволоке и с той стороны, и с этой.

Ночь. Бродит по яме жёлтое пятно прожектора. Тихо. Притаились толстоногие вышки. Издалека доносится лай собак. Чиркнула по чёрному небу звёздочка.

Тихо. А спят ли? Нет, не все. Слишком уж темна сегодня ночь. Вот, кажется, кто-то зашевелился там, справа над обрывом. Нет, показалось. Тихо.

И вдруг крик, такой страшный и необычный, что, казалось, человек не может так кричать. Яма услыхала этот крик, закопошилась, подняла голову.

На всех вышках вспыхнули прожекторы, прорезали белыми ножами чёрную густую темень. Нашли сразу: человек висел на проволоке, закинув назад голову, под светом прожекторов лицо его казалось сине-белым. Впустую били пулемёты. Напрасно.

…Утром поднялось солнце, большое, медное. Как всегда, с правой стороны у ворот столпились люди. Они выкрикивали фамилии, названия своих сёл, номера воинских частей.

Пулемёт ударил неожиданно, и странно было видеть, как неумело разбегались по полю женщины, как, суетясь вокруг убитых, кричали дети. Срочно была вызвана «капут-команда», а после один из капутчиков «смилостивился» — добил раненых.

Страшен был этот человек: на левой щеке до самого

подбородка шрам полукругом. Синеватый рубец оттянул нижнее веко, и от этого взгляд у капутчика дикий.

По шраму и кличку ему в лагере дали — Подкова.

Подкова у них вроде сержанта. В тот же день к вечеру под его началом «капут-команда» наверху у ворот, рядом с длинным курятником, обмазанным жёлтой, потрескавшейся глиной, наскоро врыла два столба, сверху прибили перекладину. В яме зашумели, задвигались. Подкова прилаживал верёвки.

Из курятника вывели троих. Руки сзади связаны. На гимнастёрках кровь.

Пришёл старший охранник с неразлучной «лейкой».

Николай стоял, вытянув шею, смотрел вверх…

— Шкуры с убитых коняк снимали, на волю захотели, — шепнул сзади Васильич, — говорили мне давеча, будто вон тот, белявый, что справа — майор. Отряд в яме собирал.

— Не может быть! — вздрогнул Николай. — А что же мы не знали?

— Своих хватало, однополчан. И то предатель нашёлся… Да ты смотри, смотри, запоминай, авось выживешь…

В полдень, как всегда, через весь лагерь выстроились вереницей пленные, чтоб получить свой черпачок тёплой клейкой баланды. Постукивают банками, котелками, как стадо коров с колокольцами. Нехотя перекидываются словом. Передние оттопыривают назад локти, упираются ногами, покрикивают, чтоб не наседали. Задние стоят понуро — когда там очередь дойдёт.

— Ну и печёт, стерва…

Звякают банки, шаркают по «бетонке» подошвы. Движется, ползёт очередь.

— Слышь, земляк, помолись богу, попроси его, старого хрена, чтоб загасил проклятую планету…

— Нельзя так, граждане, про бога. Смириться надобно. Он, владыка, всё видит, всё слышит…

Николай слушает одним ухом, как спящий. Пусть себе. Ноги устали, есть хочется.

— Арте-миха!

Как всегда, пришла она со своими тремя торбами, чистыми, стиранными с вечера. Сняла с плеч, поклонилась низко карьеру.

— Нехай Бог вам здоровья дае, добрые люди…

Пленные, что стояли за пайкой, тесно прижавшись друг к другу, повернули головы, многие бросились к ней под обрыв, сбивая с ног друг друга. Тогда и ударил пулемёт… Артемиха упала вперёд, лицом к людям.

Николай задохнулся, будто глотнул рыжего пулемётного дыму, глаза округлились, и сердце упало в груди. Ноги словно

налились чем-то тяжёлым, таким тяжёлым, что их нельзя было оторвать от земли. Но когда он, собрав все силы, сделал шаг, вдруг тяжесть упруго рванулась по телу, ударила в голову. Всё закружилось перед глазами Николая.

— Маманю убили!

Николай бросился вперёд, но его схватили, повалили на землю, подмяли.

— Куда ты, дурья башка? Под пули? Герой с голыми руками! Ударят — сотни лягут из-за тебя! — слышал он голоса, звонкие, будто из бочки.

Но всё же вздрогнули люди. Заволновались, закричали. Немцы сыграли тревогу, оцепили быстро половину лагеря и то место, где лежала Артемиха. Пулемёты выжидали, нагнув вниз тонкие шеи, высматривали добычу.

Николай лежал не шевелясь. Мыслей не было.

Кто-то тронул его за плечо.

— Ишь, что заварил! Поди, целая дивизия за тобой на дыбки встала.

Не сразу эти слова дошли до сознания Николая.

«Как же получилось, что я крикнул, — думал он. — Неужели первым? Ну и что? Не крикнул бы он, Ригачин, кто-то другой позвал бы, только, может, на секунду позднее».

— Матери не помню. Померла. И вторую убили… — прошептал Николай, отрывая от земли тяжёлую голову.

— А ты помнишь нашего лейтенанта, Саня? — свистящим шёпотом, заикаясь, спросил Николай. — Сколько смертей на наших глазах, а стоим, как связанные.

И такая лютая ненависть горела в его глазах, что Санька подумал — тот ли это человек, с которым свела его судьба осенью 1940 года в белом палаточном городке под Коломыей.

Пленных разогнали, баланду вылили с обрыва туда, где был сортир. Ночью Николая разбудил смех. Сначала он не понял, а потом догадался — Санька ел глину и смеялся. У Николая словно вдруг всё замерзло внутри.

— Милый ты мой, что же это делается с нами, — тихо завыл Николай, и вдруг всё, что он сдерживал со дня первого боя, всё, что он перенёс за все последующие дни и ночи, вырвалось у него вопреки воле, вырвалось с хриплым криком, слезами и руганью.

Ведь люди же мы! С глиной, с дерьмом смешали, душу растёрли сапожищами своими. А что мы им сделали? За что нас… тысячами…

Вновь, как и днём, пробежала по нему судорога, согнула его, забила мелкой дрожью.

Очнулся он на руках у Васильича. Разжав пряжкой своего

старого ремня зубы Николая, тот вливал ему воду, баюкая на коленях и приговаривая что-то непонятное, по-своему, по-бурятски.

Николай отдышался и почти спокойно сказал:

— Знал бы — лёг под танк там, у сада…

Назавтра в полдень, перед выдачей картофельной похлёбки, вышел старший охранник со своей «лейкой».

Два пьяных солдата завели через ворота лошадь, худую-прехудую, в лишаях и струпьях, видать, беглую, фронтовую.

Лошадь упиралась, боясь высоты и шевелящихся внизу чёрных растопыренных рук. Коротко заржав, она упала в толпу.

Васильич принёс кусок мяса.

Николаю мяса не досталось, оно пошло для начхима и Саньки.

Начхим умер через шесть дней, а для Сашка, может быть, оно и было той сухой соломинкой, которая поддержала, не дала угаснуть тлеющему огоньку его жизни.

Поплыли, полетели паутинки — бабье лето. Николай лежит навзничь и смотрит в небо. В сузившихся зрачках — крохотные белые облака. Руки под головой зацепенели.

Бабье лето. Осень пришла, а чем её встретил?

— Как тебя обсыпало, сынок, — говорит Васильич.

Ни зеркальца, ни стекляшки, ни воды чистой — кажется, век себя не видел. Провёл рукой: редкая бородёнка, свалявшиеся колтуном волосы. Чужой сам себе стал.

— Мать увидит, не узнает седого, — задумчиво говорит старшина.

— Нет у него никого, — отвечает Сашок. — Ему хорошо…

Идут дни, похожие друг на друга, как стреляные винтовочные гильзы. Уже ветер гонит со шляха коричневую пыль, уже тучи в полдень находят на солнце.

Тем, у кого одна нательная рубаха, ночью холодно. Ложились накатом плотно, грудь-спина, грудь-спина. Переворачивается крайний — все сто ложатся на другой бок, греют землю.

Утром проснёшься, глянешь — непонятно, то ли иней на гимнастёрках, то ли соль выступила.

Теперь людей чаще стали выгонять на рытьё картошки и сахарной свёклы — надо было готовиться к зиме. Николай снова попал на поле, а Саньку никак не удавалось пристроить, заметно, что слабый.

И всё же смерь отступила. Уж слишком велика была сила, звавшая его к жизни. Цепкая, простая, самая первая на земле.

— Мамо!

— Вытерпим, Саня, выдюжим, вынесем, — шептал ему по

ночам Николай.

Стали делить лагерь. Русские справа, узбеки и белорусы слева, прочие в северный угол, где застаивается вода.

Связисты тоже стоят в очереди, перекидываются словами.

— Сортируют…

— Жили мы в Гомеле. Послала меня раз мамка, ещё пацанёнком, помню, за требухой на скотобойню, — вспоминает один. — Точь-в-точь такая картина. По дворикам, по клетушками загоняют. Ату! И бегут коровки по коридору, а сверху обухом их, обухом…

Лучшее место — для украинцев и татар. У кого сохранились документы — отбирали, а если их не было — у стола стоял немецкий офицер-расолог: определял национальность по носу, по глазам, по другим приметам.

Птицей пролетел слух над лагерем, будто украинцев и татар будут отпускать домой. Многие шли в «украинцы».

— Пойдём, Коля, ну что ты за человек, пойдём. Это ж верное спасение. Ну не молчи…

Николай сидел, сдавив голову руками, тихо покачивался.

— Сколько мне просить тебя, Микола?

Сашок поднялся и снова стал смотреть в ту сторону, где толпилась очередь. Потом, не говоря ни слова, побрёл туда, оглядываясь, пригнув голову к земле.

Знакомый привкус меди сдавил Николаю челюсти, полынной горечью перекинулся в горло.

Пришёл Васильич, его место теперь в «азиатском» блоке.

— Хорошо, что ты к куреву не привык… Травы уже нету нигде. Вот раздобыл щепотку у земляков. Может, затянешься, так, между делом, а, Коля? Табачок, он всегда помогал…

Попрощался Васильич степенно, по-старинному, будто шёл на всю зиму полесовать в тайгу.

Густел вечер. Николай сидел на том же месте один, совсем один, сидел согнувшись, будто небольшой замшелый валун на заброшенном зимнике.

Так, сидя, и упал в сон, как утонул. Ветер, скрутившись в вихрь, перескочил через проволоку, заглянул в яму. Низко пролетели какие-то птицы. Да, если бы не чёрная осенняя ночь, видно было бы, как испуганно дрожат выгоревшие Николаевы ресницы, как судорожно дёргается его правая щека.

Санька вернулся под утро. Он долго ходил около Николая, не решаясь будить его. Щемящее чувство радости, знакомое ещё с детства, захлестнуло его, переполнило.

— Прости меня, прости, Коля. Бросить я тебя хотел… Всё кругом не так, белый свет — пеклом стал. Думал, всё беда нам

спишет. Только б уцелеть. Не я виноватый, Коля, это они из меня иуду делают… Прости, Коля…

…Глину в карьере утоптали, что твоя бетонка. Гладили, полировали её босые ноги, и в сушь она, кажется, звенела.

Когда пошли дожди и под ногами захлюпала вязкая коричневая каша, кто-то нащупал под глиной затоптанную узкоколейку. Под рельсами лежали деревянные шпалы.

Небывало большие костры горели в ту ночь в лагере. Впервые люди не наседали друг на друга, впервые сидели у огня тихо, с наслаждением.

Николай снял ботинки и грел застуженные ноги.

— И песен-то нету у нас к нашему положению, — сказал сонный человечек, худыми руками поглаживая колени.

— Звезда, глядите-ко…

— Кто-то ещё преставился…

— А может, споём, хлопцы?

— Давай тихонько, про танкистов…

— Спят, не проснутся наши танкисты под Луцком…

Старшой медленно, по-хозяйски ладит огонь. С шорохом взмывают искры, сжигая вокруг себя темноту.

Кто запел — нельзя понять сразу. Голос густой, шёл из глубока, на конец строчки воздуха не хватало, и человек не допевал её, судорожно проглатывал.

Там, вдали за рекой, загорались огни…
В небе летнем заря догорала.

Сидевшие перед Николаем друзья-связисты, как по команде, вскинули головы, подхватили:

Сотня юных бойцов
Из будённовских войск…

Дружно выдержали остановку, никто не влез, никто не запоздал. Повтор пели уже все, сидевшие у огня.

Сотня юных бойцов…

Николай не помнил: слыхал ли он эту песню раньше, вроде бы слыхал. Он пел, схватывая на лету слова. Пел, не ощущая себя — будто нет его, нет тела, а есть одна только вылетающая из

сердца песня…

Потом его ударили слова, жалостью к самому себе пронзили всё его измученное тело:

Он упал возле ног вороного коня…

И увидел Николай ромашковый луг, услышал, как гудит земля. Он рвёт ромашки, утопая по пояс в цепкой траве. Куда ни глянь — желтоцвет, над ним лиловыми пиками не колыхнётся иван-чай. И это уже не луг, а Белый остров, Заонежье… А ромашки, как подсолнухи, большие.

Эх, конёк вороной, передай, дорогой…

Николай навзничь падает в глубокий колодец. До сознания ещё не дошло, что случилось, а он уже лежит, прижимаясь к земле.

— О-о-о-й!

Пули вскипают в огне, взметая струи искр. Несколько человек падают в костёр, а кто цел пока, уползают в ночь. Пулемёт на вышке смолк, а песня всё еще звучит, клочьями, в мозгу, с пулемётным перебивом.

И на этот раз смерть миновала Николая и Сашка.

Назавтра рано утром сформировали две рабочих команды. Во вторую попали Николай и Сашок. Проволока позади, а вокруг, куда ни глянь — поле, поле, поле. Нет перед глазами рваной простыни неба, нет обвалившихся красноватых круч карьера, нет широконогих вышек… Шесть немцев — не в счёт, шесть немцев на пятьдесят человек. Как истосковалось тело по этой широкой степи — пусть обвеет прохладный ветерок, как сладко ноют ступни, бухая по пушистой пыли!

Их пригнали на станцию, разбили на шесть отделений. Пока подавали вагоны, дали перекурить. Потом одни волокли бочки с битумом, другие — покорёженную бурую шелёвку, третьи — тюки с овечьей шерстью и свежие смердящие лошадиные шкуры. Отделение, в котором были Николай и Саня, грузило заскорузлые мешки с крахмалом. Мешок казался таким тяжёлым, что они вдвоём не могли оторвать его от пола пакгауза и, найдя неподалёку лист старой фанеры и привязав к нему верёвку, сделали волокушу. Дело пошло лучше.

— Надо обследовать склад, может, где оторвём доску. За пакгаузом развалины, а от них рукой подать до первых домов…

Николай таскал поклажу, Санька тщательно осматривал,

ощупывал доски. Перелезая в вагон через дощатый пружинистый трап, Николай искал какую-нибудь скобу, шкворень, ломик. Внизу под вагоном он заметил обломок широкой рессоры. На худой конец сойдёт.

Немец внимательно следил за ним. Достав рессору, Николай принялся забивать болтающийся засов складских дверей. Немцу это понравилось.

— Ничего нет, Коля. Что будем делать?

Тогда на поиски ушёл Николай. За кучей порожних мешков, в толстой дощатой стене он нащупал несколько больших дырок от осколков. Попеременно возили мешки, попеременно расковыривали рессорой доски, а всего надо-то, чтоб голова пролезла.

— После обеда, сразу…

Отдыхая, Николай выбрал мешок почище, куском стекла пропорол дыры для головы, рук. Снял гимнастёрку, надел мешок — получилась жилетка, здорово! Через полчаса всё отделение поддело утеплители.

На перекуре товарищи окружили Саньку и Николая.

— А мы как?

— Ещё одного можем взять, — сказал Николай.

Недобрая тишина стояла в полутёмном запылённом пакгаузе.

— Может, немца прикончим — винтовка будет, — сказал невысокий паренёк с чёрными, обкусанными губами.

— Мы уходим потому, что Любченко не выдержит. Его впервой вывели сегодня.

— Тогда пусть идёт с вами Курасов — он тоже не жилец в нашей яме. Авось, повезёт вам, — заикаясь и окая, выдавил волгарь Сушков, самый старший по годам.

Вот и съедена последняя лагерная баланда из приторной сахарной свёклы. Быстро прощаются они с товарищами.

— Пошёл!

Первым пополз Николай. Руку поднимает — значит, давай скорее, можно. Вот развалины. Скок-скок, через обгорелые балки, мимо голых закопчённых стен.

Ползком по полю, ящерками через дорогу. Уже недалеко дома. А что за люди там, как примут? Пустое — стучись и всё. Пан или…

Мальчонка, сидевший во дворе за негустым новым штакетником, заметил их и так перепугался, что слова не мог вымолвить.

С огорода прибежала молодая женщина, без платка, держа что-то в переднике.

— Уходить вам отсюда надо…

— Веди, сестрёнка, скорее…

Они пошли задворками, огородами, отдыхали в небольшом поле жёлтой шуршащей кукурузы.

— У моего отца до полуночи побудете, — начала было женщина и остановилась. Все трое, не слушая её, не видя вокруг себя ничего, грызли засохшие початки. Проглатывали каменные зёрна, не разжёвывая.

— А боже ж ты мой, — выдохнула женщина, закрыв лицо руками, чтобы не видеть этого невысокого, седовато-чернявого парня с бешено жадными глазами, напоминавшего её Василя, ушедшего в полдень 22-го.

Они пришли в небольшой дворик под вязами. Вёрткая, стройная, она быстро шмыгнула во двор. Под поветью достала длинный ключ, быстро открыла низенький омшаник[5].

Пахнуло липовым цветом, старой вощиной, хлебным квасом. Шагнули по глубоким ступеням, упали на слежавшуюся солому. Потом она принесла борщ в небольшом чугунке, ещё горячий — только из печки, две кринки кислого молока и чёрствые остроугольные коржи.

В полночь она еле разбудила их. У ног её стоял небольшой квадратный фонарь, как у проводников, освещавший только низ пальто и синие резиновые тапочки.

Николаю достался старый брезентовый плащ и потёртые, чуть длинноватые ему брюки. Сане — рубаха, шапка и фуфайка. Курасову — сапоги и серый мятый пиджак.

Забыв о женщине, они быстро стали переодеваться. А она тихо плакала, закусив губу, чтоб не слыхали.

Шли долго, а когда начало сереть, свернули в незнакомую деревню. Так же огородами привела она их к чьей-то избе, где они на чердаке проспали весь день.

Вечером хозяйский мальчишка вывел их к реке. Вторую ночь они шли, петляя вдоль берега.

В маленьком степном хуторке Весёлый Гай, стоявшем на отшибе в низине, оставили Курасова — дальше он идти не мог.

— Не гляди, командир, что я сама карга каргой, — пела Николаю маленькая улыбчивая старушка, — вынянчу его. А вылюдняет, не пропадём — земельку пахать будем… С мужиком хозяйство на ноги станет. Чай не из городских будешь? — неожиданно бросила она Курасову, быстро почесав указательным пальцем под грязноватым чепцом.

Курасова она устроила на тёплой лежанке в соседней комнатухе, отгороженной захватанной пестрядью.

— Не боись, маманя, с Кубани мы, — прохрипел тот.

В каждом селе так вот оседали окруженцы.

В одном селе, только зашли они в хату, вбежал а девочка.

— Титко Параско, староста з полицаями…

Пришлось день пролежать в зарослях вонючей бузины. Ели паслён, а потом Саньку мутило два дня.

Шли и шли дальше…

Николай хорошо запомнил Антоновичи, с большим белоколонным помещичьим домом, с двумя прудами в жёлтых, поникших ивах. В том селе они жили четыре дня. И быстрая, как сполох молнии, была там любовь у Саньки.

Как оно так вышло, никто не знал — ни Сашок, ни она. Девочка-подросток вместе с кринкой молока принесла ему первый свой поцелуй, первый горячий шёпот.

Николай лежал в другом углу сеновала. Он не мог пошевелиться, тяжёлый, будто каменный, ловил он каждое её слово, вздох, шёпот, слабый крик, потому что этого никогда ещё не было с ним. И будет ли?

Туго сжимая веки, Николай силился заснуть. Но только начинал впадать в дремоту, как вдруг откуда-то сбоку, будто на медленной карусели, выплывала Уманьская яма. Люди кричали ему, беззвучно раскрывая рты, медленно махали руками, как ветряные мельницы.

Но крика их он не мог разобрать — всё сливалось в один протяжный глухой и очень далёкий вой.

Николай просыпался, трогал вспотевшую грудь, вспомнив, где он, замирал, боясь пошевелиться.

Девчушка не отходила от Саньки ни днём, ни ночью. Она расчёсывала Сашкины вымытые волосы, разглаживала морщины, стыдливо целовала ему руки, свернувшись калачиком и упершись в него острыми коленками, глядела на него, глядела…

Простилась так же тихо и неумело, не плача, не сказав ни слова. Долго стояла она на полевой стёжке, пока не исчез Сашок с товарищем за сиротливо голым, сгорбившимся чёрным садом.

Идти приходилось много, далеко обходя большие сёла, города — там были немцы. Петляя, порой возвращались назад и следующей ночью уходили снова. Зайдя в Кировоградскую область, никак не могли выйти из неё. Идти нужно было, всё больше забирая на север.

Село спит, ещё не заголубели хвосты дымов, во дворах не лают собаки. Только одинокие петухи кое-где встречают утро.

Подошли к старой избе, осевшей по окна в землю. Стуча в окно, Николаю пришлось даже чуток нагнуться. Женская рука

быстро отвела выцветшую бледно-розовую занавеску.

— Что за село, мамаша?

— Злынка, братики.

— Может, покормите, мамо? — спросил Сашок.

…Вспыхнул каганец — верёвочка в чернильном пузырьке. Справа, как зайдёшь, большая приземистая русская печь с лежанкой. Вдоль печи шла тонкая побеленная дощатая перегородка, в ней маленькая дверца.

В левом углу в полутьме дремали иконы, покрытые белыми вышитыми по краям рушниками. Вдоль стен — лавки, сходящиеся под иконами, — там дорогие гости сидят. Стол, вкопанный, наверное, ещё дедом Ульяны, наклонился к иконам, а края его под тяжестью локтей пригнулись к земле — видать, сидели здесь дюжие люди.

Хозяйка быстро изжарила яичницу с салом, подала из сеней холодное молоко.

— Кто ж вы будете, люди добрые?

Как всем, так и ей отвечают:

— Домой идём. К родным, на Черниговщину. Идём, да всё никак… Много ли находишь ночью в чужих краях?

— Не проведёшь ли, сестрица, когда стемнеет? — спросил Николай.

Под вечер зашла она в клуню, где спали ребята. Принесла бутылку самогону, солёных огурцов, вареной картошки.

— Не обидьте, хлопцы, — просит. — От щирого сердца. Ну трошки, шоб идти не холодно было.

Тёплая волна ходит по телу, то обволакивает голову, то вступает в ноги. Легко, свободно. Рот Николая широко открыт в смехе, и ветер холодит зубы, под месяцем переливаются они перламутром. По ногам хлещут мокрые травы.

— А может, останешься, Коля? Куда пойдёшь, немцы кругом…

— Не поймёшь ты этого, гражданочка. Да я его, как дитя, выходил… Он мне теперь за брата…

— Побьют вас немцы, чует моё сердце…

На росстанях остановились.

— Что это? — спросил Николай, показывая на высокий дубовый крест в засохших венках, с полинявшим от дождей и солнца рушником.

Женщина объяснила сбивчиво и непонятно:

— Ходят три хлеба, три круглых хлеба-освободителя. Тем хлебам служили тут молебен. Говорили, что идут они из Москвы. А навстречу им другие три хлеба — в Москву, и всё горе наше украинское на них кровью проступает…

В полночь сырая, глухая мгла перешла в мелкий дождь. Темно. Тихо. Остановись, вдохни в себя сыроватый терпкий запах картофельной ботвы, замри и не услышишь даже, как сеется дождь-бусенец.

Идти тяжело, ноги скользят по мокрому, бугристому полю, одежонка промокла и давит на плечи. Заныла раненая рука.

А полю нет конца. Может, заблудились? Скорей бы утро. Наткнулись на буерак и решили в нём дождаться рассвета.

Николай достал из старой противогазной сумки два размокших сухаря, и они долго молча жевали их. Потом, натянув на голову плащ, прижались друг к другу, попытались вздремнуть. Издалека, приглушённый дождём, донёсся паровозный гудок. Они привстали, вслушиваясь, но снова только тишина да дождь.

Рассветало медленно. Дождь не переставал, но на востоке всё же посветлело.

— Разгуляется, — по-хозяйски заверил Николая Сашок.

Перейдя овраг, поросший тоненькими берёзками, они пошли дальше по полю, пока не вышли на заброшенную дорогу. Через час она вывела их на изогнутый большак, уходящий в тёмный низкорослый лесок.

Быстро дошли-добежали до леска, и сразу стало легче на душе.

Теперь шли медленно, останавливались, искали грибы. Вырезали по толстой ореховой палке с набалдашником на конце. Для всяких встречных у Сашка была придумана и не раз уже рассказана история, что они-де угоняли скот, попали в окружение, сдали, как и полагается, новым властям своё стадо и теперь возвращаются домой на Черниговщину.

— Хуже нет, когда не ясно, где мы. Пойдём дальше или переждём? — бурчал Николай. — Спросить бы у кого.

Лес неожиданно поредел, и они вышли на опушку, за которой начиналось бесконечное, несжатое, выбитое коровами, одичалыми лошадьми, примятое дождём, серое овсяное поле. Возвратились назад, неподалёку от дороги нашли уютную ложбинку. Натаскали туда листьев, зарылись в них. Бусенец еле слышно шуршит по листьям, в яме тепло и спокойно.

— Паук по щеке бегает, понимаешь-нет…

— Известие получишь, Саня…

— Спать что-то не хочется…

— О ней думаешь?

— Пойду ягод пошукаю. Шиповника, может, найду или глоду. Мать, как заболею, понимаешь-нет, всегда чай шиповником заварит… Смотри-ка, дождь перестаёт.

Николай лёг на бок и долго раздумывал над тем, удобно ли

без Сашка съесть сухарь, а так вдруг захотелось, и даже не есть, а заложить его за щёку и медленно посасывать, эх, если бы ещё чуть подгорелый попался. Спрятал, не тронув.

По дороге застучала телега. Николай приподнялся на локте, прислушался. Поблизости кто-то разговаривал. Потом всё стихло, и вдруг крик:

— Стой! Стой!

Гулко по лесу шарахнул выстрел, за ним другой… Телега залязгала, задребезжала, понеслась…

Николай выскочил на обочину дороги. Двое полицаев, беспрестанно оглядываясь, вовсю гнали лошадь.

— Санька!

Николай побежал вдоль дороги, влетел в лес.

— Санька! Любушка!

Санька ещё не похолодел, и то, что лицо его, руки были тёплыми, смутило Николая. Он начал тормошить Саньку, толкать…

Остановился дождь, не шумел по деревьям ветер, медленно сползли с солнца тяжёлые тучи, и оно повисло над землёй — жёлтое, холодное, равнодушное.

Совсем под вечер Николай перетащил Сашка к ложбинке. Выгреб листья, розовые, жёлтые. Долго рыл землю палкой, как заступом.

Затем отбросил палку, стал копать яму руками, не чувствуя боли, не видя, что бросает землю на открытые Санькины глаза.

Николай вынул из левого кармана завёрнутые в тряпицу бумаги, бережно обтёр другу лицо, сложил ему на груди руки и стал тихонько укладывать. Посидел у изголовья, вглядываясь в лицо, потом снял с себя плащ, укутал Сашка и стал быстро забрасывать землёй.

Солнце опустилось за тонкие деревья. Пахнуло сыростью, грибным духом, прелыми листьями и дикой мятой.

Николай вышел на опушку. Присел, прислонившись к молодой берёзе, лицом на восток. Широко открытые невидящие глаза его заполнило красное солнце. Солнце действительно было красным, и от него далеко на запад протянулась длинная, узкая туча, будто выгнутая окровавленная сабля, устало брошенная на почерневшем бескрайнем поле.

Ульяна избегалась вся, под глазами круги — не спит четвёртую ночь. Плохо ему. Поит настоем из васильков, наперстянки, чебреца. По утру липовым чаем с гречишным мёдом. Порой с трудом разожмёт она зубы Николаю, просит его, молит, а он как немой. Горит огнём, мечется. Потеет страшно —

простыни сурового полотна, которые стелет ему Ульяна, надо менять через полчаса, а самого лихорадит.

Призвала Ульяна бабку Агафью, лучшую на селе шептуху. Та развела в маленьком корытце воды, влила туда что-то из чёрного пузырька, долго крестила ту воду, опускала три пальца, кропила Николая. Потом подсела к нему на лежанку, взяла его жаркую руку, дула на неё, щекотала, приговаривала непонятное.

— Хворь из него выходит, — сказала твёрдо Агафья и приказала рассыпать на печи чуть волглую рожь и положить на неё Николая.

— Да паром над картохлею не забудь прогреть, — напомнила она Ульяне уже на улице. От десятка яиц — приготовленной ей платы — отказалась наотрез.

Затащить Николая на печку помогла Федора Алексеевна, соседка Ульяны.

— А если узнают?

— Была уже у старосты, уговорила. Сказала — на курсах полеводов встретились весной, ну и вот теперь только приехал, жить будет…

— А коль уйдёт?

— Куда он пойдёт? Товарища у него немцы убили, а про фронт и не слыхать… Вот плохо только, что он всё по-русски говорит…

— Он командир или красноармеец, не знаешь?

— Видать, грамотный, про электрику давеча ночью кричал…

Федора Алексеевна подошла к окну, протёрла запотелую маленькую четверть и стала смотреть в огород, где торчали чёрные, остро надломанные палки подсолнухов.

— Как жить-то будем, Ульянко? — зашептала она, плача.

Они и раньше были добрыми соседями, но горе ещё крепче сдружило этих двух непохожих женщин: одна только-только вступала в жизнь, другая встретила середину её, одна замкнутая — росла почти сиротой, другая общительная, весёлая, счастливая в замужестве.

…Отец Ульяны, человек хмурый и болезненный, смотрел на подрастающую дочь как на подспорье в доме, как на работницу. Дома было нелегко, и он приказал ей бросить школу и идти в колхоз.

— Была б мама жива, — тихо проронила Ульяна, — всё б шло по-другому.

От крепкого самосада отец надрывно и долго кашлял. Ульяна не могла понять, жалеет ли он её когда или нет. Хотелось, чтоб пожалел.

Пролетело лето, другое. Постепенно улеглась по-детски острая щемящая тоска.

Работа у неё ладилась. Серьёзная, молчаливая, смекалистая, она выделялась среди девчат, и правление колхоза назначило Ульяну бригадиром полеводов. Забот было много, с утра до ночи пропадала в поле. Но работа оживила, распрямила её — прямо не узнать — загорелая, стройная, с открытым, чуть лукавым взглядом.

В белом платочке, в лёгкой ситцевой кофточке летала она над жёлтой сурепкой, лиловым клевером, белой гречихой, летала пчёлкой-хозяйкой над своими полями.

Когда умер отец, к ней, молодой, неопытной, приходила на помощь Федора Алексеевна.

Летние дни летели быстро, как сизые голуби.

Хлопцы за ней вились, да толку от того было мало, а каждый из них расчёт нехитрый имел — девка она и есть девка, живёт одна. Бывало, ночью под окна приходили, а когда однажды выбежала она да ударила в дурманящие медовые липы из берданки (выпросила у старого Ведя, баштанного сторожа), стали хлопцы из шмелей чёрными слепнями — проходу не дают.

И вроде ничего в ней нет особенного — тонкий, немного длинноватый нос, веснушки, чёрные невыгорающие на солнце волосы, узкие холодноватые быстрые глаза. Сама, правда, вёрткая, тонкая. Пальцы на руках длинные, ногти желуд**о**чками и все в белых крапинках.

— Счастливая будешь, — сказала ей как-то Федора Алексеевна.

Счастливая, да не совсем. Дивно было многим, когда она прошла по улице с Костиком. Здоровый, румянец во всю щёку, хороший гармонист, Костик работал «кинщиком» и раз в неделю появлялся в Злынке, встречаемый радостным криком детворы.

Летом полотно натягивали в саду и кино смотрели с той и с другой стороны. Людей собиралось — страх сколько.

Так вот, говорят, будто бы видели, как Костик один раз утром выходил из переулка, где тонул в вишнях и липах маленький домик Ульяны. Что случилось меж ними, никому не известно, только стали они ни врагами, ни друзьями — просто с тех пор не замечали друг друга, ежели встречались.

Многое бы ещё говорили бабки на выгоне перед заходом солнца, поджидая череду, долго б ещё судачили женщины, сходясь на молочарне, не скоро перестали б шептаться девки на вечорках — да тут война.

…Растрёпанная, запыхавшаяся, бросила она свой велосипедик у крыльца правления колхоза.

— Перестаньте, женщины. Тихо! — кричал председатель, бухая по столу толстой пустой чернильницей. — Наша первая задача — собрать для Красной Армии урожай. Не жалеть сил. Тут наш фронт будет, товарищи мои! Тут!

Под начало Ульяны были выделены две военные машины. С утра и до утра возили пшеницу на станцию в Капустино. Без устали работала Ульяна.

— А ну, бабоньки, кинем! Раз, два, раз! — кричала она, по-мужски бросая с Федорой мешки на машину.

— Ну и девка, вот это девка, — скалил зубы потный, лысый шофёр, вытирая пилоткой конопатое хитрое лицо.

На помощь её бригаде пришла учительница Зоя, совсем ещё девчушка. Учительница рванула мешок и тут же растянула сухожилие на руке. Теперь ездила в кабине, подписывала квитанции.

…Ульянины воспоминания рассеивает голос Федоры:

— Поклади в скрыню её…

— Что? — вздрогнула Ульяна.

— Грамоту-то спрячь. Увидят — лиха не оберёшься.

Ульяна бережно снимает со стены грамоту в рамке, которую ей второпях вручил какой-то главный военный на станции перед отправкой эшелона с кукурузой.

…Медленно поправлялся Николай, ох, как медленно. Жёлтой высохшей рукой подопрёт голову и смотрит с печки в маленькое оконце, как снег заметает землю. Молчит. Ульяна и так и эдак пыталась спрашивать. Ответит скупым словом и снова молчит. Наконец набрался сил, сам стал слезать. Посидит на лавке за столом, погреется на низенькой скамеечке у лежанки, подойдёт рассматривать фотографии в продолговатой потрескавшейся рамке, скучно станет — незнакомые все. Снова сядет у окна и смотрит, смотрит. Худой, чёрный с лица, в старом наопашь накинутом полушубке.

В полдень Ульяна достаёт из печи большущий чугун с картошкой, ставит на пол, возле него на скамеечку садится Николай, и она накрывает его серым толстым бабкиным рядном, сверху накидывает полушубок.

Николай дышал, раскрыв рот, задыхался, густой пар влезал иголками в тело, раздирал в серёдке. Бежали слёзы. С носа, с бровей, с ушей стекал ручейками пот.

Не раскутывая, Ульяна вела его и снова укладывала на горячее зерно, толстым слоем лежавшее на печке.

Заснёт Николай, Ульяна — к Федоре Алексеевне и подолгу тихонько плачет.

— Уймись, Улька. Это у него от горя, душу сорвал. Покой ему

надо, и не вязни ты… Сам заговорит — человек же…

Федора была права. Постепенно таяло что-то в Николае, и уже с интересом слушал он рассказы Ульяны об односельчанах, о далёкой довоенной жизни, и смешное слушал, запомнившееся Ульяне от бабки.

Слушает, а потом вдруг уставится в тёмный иконный угол и ничего уже не слышит.

Вначале её пугал этот замкнутый человек, но женским чутьём она понимала его и ждала, а чего — и сама не знала. Хотелось, чтобы стал замечать, глядеть на неё.

— Вишни зацветут, наша улица будто в снегу станет. Идёшь как пьяная. Ноги несут, сама не знаешь — куда. Гармошка около клуба заливается…

Николай не слышит…

— Люблю, когда липы цветут. Спать лягу в кладовке и никак не засну. Думаю, думаю. На бураки надо чуть свет, ну да ладно. То маму увижу, будто меня маленькую в школу наряжает; то вроде на лошади верхом еду. И ехать боязно, и слезать страшно — упаду… Коля, ну что ты всё молчишь? Словечко молвил бы…

Николай глаза отводит, молчит.

— А ты знаешь, сколько у меня женихов было?

— Что?

Снова горькая обида — не слушает, не видит её.

— Коля, а ты женат? — спрашивает вдруг она, и всё в ней обмирает.

— Нет…

— А вы говорили — к жёнам идёте, помнишь? Товарищ твой говорил…

Николай вздрагивает, вскидывает в упор на неё глаза и умолкает. Надолго ли? Чего ж это он…

За метелями быстро летят дни. И вот она, эта ночь. Сверчок в углу за веником журчит.

— Уля, слышь, Уля… Я люблю тебя… Первый раз в жизни, понимаешь, понимаешь-нет…

И покойно ей лежать на руке Николая. Темно, и ему не видно, как улыбается она, как по щекам текут слёзы.

— Что будет с нами, Коля?

— Не знаю… Надо партизан искать.

Тикают ходики, за стеной замычала корова.

— А далеко ехать до Карелии? Сколько дней, не знаешь?.. Приедем — все так и ахнут: хохлушку Ригачин привёз. Коль, а Коль, ты не спишь? Расскажи ещё про озера…

— Избы у нас строят всегда над озёрами. Воду чтоб брать, бельишко полоскать. Изба наша карельская, как пароход —

длинная. Лесу хватает, ну и ставят избу широко, свободно, в два этажа, брёвна — не обхватить.

…Николай видит свое село, свою старую избу. Босоногий, лохматый, ловкий, он бегает по ней быстро, как солнечный зайчик.

Вот наверху три комнаты: кухня, горница, спаленка. Горница обязательно окнами к озеру. Там же наверху сеновал. Рядом с ним кладовки: для рыболовных снастей, для сушёной рыбы, для мяса. Отдельно стоят кадушки с солёными грибами да брусникой. На колья нанизаны пучки разных трав, кустики дикой малины с сизоватыми засохшими ягодами. Внизу под жильём — овощи на зиму, под сеновалом — хлев, курятник, клеть для овец.

Дом пахнет с детства привычными запахами ржаных отрубей, сена, сушёной корюшки, смолистыми брёвнами.

— Коль, а Коль, расскажи, как ты стал лётчиком?

…У окна за жёлтым свежевыскобленным столом сидит отец, рядом старший брат Яков и сестра Наталья.

— Поедем в Петрозаводск, город поглядишь, — говорит Николаю отец.

Старый катер, натужно кашляя, подходит к городу. Петрозаводск раскинулся широко-широко. На пристани празднично одетый народ. Присмотревшись, Николай заметил, что взоры людей обращены к лодкам, в которых сидело по шесть человек. Все шестеро дружно, весело махали вёслами. И вдруг слева над бухтой он увидел, как что-то падает с неба. Будто кружевной платочек.

— Что это, батя?

Все на катере смотрели вверх.

— Лётчики прыгают. Парашюты это у них. Круглая простыня на верёвке, — объяснил капитан катера.

На берегу две девушки в белых гимнастёрках держали плакат. Медленно водя глазами, Николай прочитал непонятное: «Даёшь Осоавиахим!» Вдруг на берегу взревели трубы, бухнул барабан. До катера долетели песенные слова:

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор…

«Буду и я прыгать на простыне, буду лётчиком», — подумал Николай. А стал учеником сапожника.

— Коль, ну расскажи про самолёты, — просит Ульяна.

…Зимой поехали с дедом за сеном. Лошадь молодая — испугалась, рванула. Санями крепко помяло деда. Николай привёз его домой ещё живого, но пока ждали фельдшера…

Горе не приходит в одиночку. Заболел отец, за ним слегла вдруг бабушка. Трудно приходилось Николаю — и на работу бегал, и за больными вместе с Натальей ходил. Скоро в доме остались он да сестра, брат Яков ещё раньше уехал на лесозаготовки. На работе вначале не ладилось, а потом ничего, пошло. Кому подошву подбить, кому набойки, а то, глядишь, и хромовые сапоги стачает. Стук да стук, а под окном кричат:

— Колька, айда щук ловить!..

Стук да стук, а думы всё про парашюты.

Сестра вышла замуж и стала реже заглядывать в дедову избу. Плохо жилось ему, пусто было вокруг, но встретился хороший человек. Работал он в Великой Губе мотористом на катере. Занёс он как-то в мастерскую сапоги. Большие, на собачьем меху, с пряжками.

— Прослышал, что здесь мастера умелые. Дай, думаю, зайду. Вещь хорошая, из армии привёз, командир подарил. На, говорит, Кузьмич за то, что самолёт всегда был в порядке, носи, говорит, на своём севере…

Выпросил Николай у заведующего мастерской те сапоги, выпросил и починил на славу. В воскресенье пошёл он в Великую Губу, нашёл Кузьмича, отдал ему сапоги. И пробыл у него весь день. Уж и поговорили они!

После этого жизнь Николая пошла по-иному. За домом сделал себе свой стадион — прыгал в длину, скакал через верёвку, бросал деревянную гранату, для тяжести обёрнутую шинным железом.

А дома утром и вечером он делал самое заветное, самое трудное упражнение. На полу рисовал мелом маленький кружок, нагибался, ставил в него указательный палец и давай вертеться. Десять, пятнадцать, тридцать оборотов. Резко выпрямлялся и шёл по половице. И так изо дня в день.

— Бойся этого проклятого стула, — вспоминал Николай слова Кузьмича.

Подошёл 1939 год. В ноябре его вызвали в военкомат.

— Хочу лётчиком.

— Пойдёшь в пехоту, Ригачин, — буркнул толстый майор.

— Смотрите, что я могу, — крикнул Николай и стал вертеться перед майором. Потом вскочил и быстро прошёлся по узкой половице.

— В авиацию, брат, этого мало… А ты, парень, и ростом не вышел, и умом, видать, не того… У тебя сколько классов? Пять? Ну так чего ты хочешь?

— Коля, ты опять молчишь. Ну, расскажи про самолёты…

— Не вышли мои самолёты…

Ульяна лежит на его руке близкая, понятная, будто всю жизнь рядом. Тихо в избе. Сверчок, прислушавшись на секунду, журчит снова. Часы тикают ровно-ровно. Вдруг с шумом срывается гиря.

— Немцы, — вскидывается Ульяна.

— Спи, спи, я рядом…

Николай гладит Улину голову, осторожно проводит пальцами по лбу, касается сомкнутых век, чувствует болезненно сжатые губы.

Впервые Николай вышел на люди зимой. Три дня мела метель, и по приказу коменданта жителей погнали километров за двенадцать на расчистку железнодорожного полотна. Ульяна, Зоя, Федора Алексеевна и Николай работали отдельно, группой. К полудню пригнали ещё людей с другого конца села. Зоя побежала к ним и вскоре вернулась с маленьким сухоньким старичком.

— Лев Иванович, преподавал географию, — отрекомендовался он Николаю. — Позвольте спросить, из каких мест?

— Ему можете доверять, Коля, — шепнула Зоя.

Домой они возвращались одной дорогой: Уля, Лев Иванович и Николай.

— Ничего вам не обещаю, молодой человек, но попытаюсь. Один мой ученик где-то здесь в подполье… Замечательный человек, исключительной честности.

Шаг за шагом, слово за словом. Отдаются слова где-то внутри гулким эхом, и сжимается сердце, как перед первым боем.

— Вам приходить ко мне пока не следует, а вот супругу — милости просим…

— Лев Иванович, поскорее бы узнать…

— Думаю, что не раньше весны… Тогда будет смысл действовать, а сейчас глядите, эко метёт… Степь ровная на сотни километров. Не уйдёшь, не спрячешься, след за версту видно…

Руки тосковали по работе. Ульяна принесла из кладовки ящичек с нехитрым отцовским инструментом: молоток, гвозди, рубанок, стамеска. Напряла суровых ниток для дратвы, выпросила у соседей немного воску. Николай срубил одинокую берёзку в конце огорода, напилил тонких кружков, высушил их в печи, наколол беленьких, как мышиные зубки, гвоздиков. Из старых горбылей сколотил низенькую табуретку, только вместо дощатого верха прибил крест-накрест куски брезентового паса — такие сиденья были у всех в типиницкой мастерской. Привычное место для работы — как инструмент по руке.

Расположился напротив печки у низенького окошка, выходящего во двор. Ульяна с сомнением подолгу наблюдала за

ним. Но заметив, что Николаю это не нравится, стала уходить из дому.

— Ну вот, можешь теперь смотреть…

Ульяна не поверила своим глазам — её сапоги и не её.

— Где же это ты так научился, — только и сказала.

— Думал, не смогу — времени столько прошло…

Губы Ульяны дрогнули, она быстро отвернулась, сняла с полочки керосинку и стала искать в печурке согнутое из напильника кресало, острый камень и мягкую, похожую на замшу, древесную губку. Сквозь окна в комнату вполз синеватый вечер.

— Приходила Федора Алексеевна, слышь, Уля? Сказала, что в Германию будут забирать…

Ульяна вдруг вздрогнула, руки опустились. Долго сидели они молча, не зажигая коптилки. Прислонившись к нему, Ульяна понемногу согрелась и вся ушла в трудную думу.

Слух о хорошем сапожнике позёмкой пополз по селу, и у Николая прибавилось работы. За делом и дни шли быстрее. Приносили юфть, а некоторые доставали где-то и лоскутки хрома.

Люди стали приглашать Николая к себе, в хату. Ему это было непривычно, но так уж заведено в Злынке — с давних времён ходили по домам пастухи, плотники, кравцы. Николай сначала шёл неохотно, хотя и стосковался по людским лицам, по нехитрому разговору.

Вначале он мастерил неподалёку — у соседей. У чужих людей он стеснялся и больше слушал, чем говорил. Присматривался.

Располагался, как и дома, у окна. В чистеньком ящике в спичечных коробках, в мешочках были у него гвозди, дратва, толстая свиная упругая щетина. В большой плетёной корзине держал он деревянные колодки на любой размер, в ученическом Ульянином пенале лежали сапожные ножи из ножовочного полотна, из патефонной пружины. На широкой дубовой кроильнице резал опойковый и подошвенный товар. Пахло воском и выделанными кожами. На душе становилось покойно, руки делали работу красиво и споро.

В одном доме к Николаю пристал с расспросами бедовый дедок. Откуда родом, как попал в плен, не знает ли, куда дошли немцы — может, уже на Урале.

Два дня жужжал он над ухом. Николай не выдержал, собрал свой инструмент и ушёл. С тех пор стал отказывать, если приглашали в дом работать. Сапожничал снова на своём табурете, слушал рассказы Ульяны, смотрел, как она хлопочет у печки.

На масленицу за Николаем пришла робкая, худая женщина, в короткой куртке из пятнистого немецкого брезента. Она долго о чём-то шепталась в сенях с Ульяной, войдя в хату, поздоровалась с Николаем.

— Коля, пойди к этим людям…

…В небольшой комнате пусто и неуютно. Тусклым золотом в углу светились две застеклённые большие иконы. Рядом с лежанкой висела на свитых втрое синих телефонных кабелях полотняная замызганная люлька. Женщина испуганно подбежала к ней, откинула ситцевое покрывальце-шатёр.

— Спит ещё. А мужик за сеном поехал, для тёлочки. Ждём не дождёмся молока. Может, и болеет потому, что молочка нету в доме.

Николай работал молча, чинил вконец сношенную обутку.

Вечером, когда уже собрался уходить, возвратился хозяин, тоже худой, как жена, с тихим, хрипловатым голосом.

— Ярыш Иван, — сказал он, протягивая руку.

— Николай Олейников, — ответил Ригачин.

Они упросили Николая остаться ужинать. Пустой борщ, картошка с капустой — на второе. Николаю подали в блюдечке подсолнечное масло и щепотку серой соли. Это внимание смутило его, и разговор сперва не налаживался.

Иван начал первым:

— Не сладко, верно?

— Да, — невольно поддакнул Николай, и рука его, протянувшаяся за куском хлеба, замерла.

— Угощайтесь, чем бог послал, — сказала женщина, заметив смущение Николая.

— Живём зато… Дышим. Я под Одессой попал. Два раза из лагерей бежал. Полмесяца в Злынку пробирался.

— Пришёл еле живой, — перебила его жена. — А тут я нездорова, дочечка хворая, неизвестно — выживет ли…

— Дай нам поговорить, познакомиться, — сказал ей угрюмо Иван.

Хозяйка ушла к зыбке, а они, склонившись друг к другу, тихо вели беседу. Иван говорил как-то очень доверительно. Полицаи и староста знают, что он вернулся — пришлось зарегистрироваться. До войны работал в колхозе на животноводческой ферме бригадиром, зла никому не делал.

— Как думаешь, осилит нас немец? — вдруг спросил Иван.

Николай вскинулся, но ничего не сказал.

— Навряд, — сам себе ответил Иван. — Да… только я вот за сеном езжу, ты сапожки тачаешь.

— Ты меня за грудки не бери, — усмехнулся Николай. — Я и

так полуживой… — Николай замолк, что-то помешало ему говорить. Он судорожно втянул в себя воздух, проглотил появившуюся знакомую горечь. — Хожу-брожу, как ночью. Кругом сонные. Ты первый, с кем говорить можно, понимаешь-нет. Где-нибудь тут есть партизаны?

— Нет. Точно знаю. Степь вокруг — не спрячешься.

Николай оделся и вышел в ночь. Шёл, не глядя под ноги, не зная куда.

Опомнился, лишь услыхав невдалеке справа выстрелы. Ветер донёс женский крик, потом снова три выстрела подряд — и тишина. Николай долго стоял, вслушивался, не замечал мокрого снега, залетающего под распахнутые полы фуфайки.

…Эта первая их встреча стала началом дружбы. Как только выдавался свободный вечер, Николай шёл к Ярышу. На полчаса хватало нехитрых кургузых новостей.

О своём разговоре со Львом Ивановичем Николай пока молчал.

Весна пришла быстрая, певучая. Закапало с соломенных стрех, по улице потекли звонкие ручейки. Николай подпёр повалившийся плетень, выбросил в огород со двора тающий снег, нарубил дров.

Сел передохнуть на завалинку, снял шапку с потной головы. Вдруг стукнула щеколда в калитке. На подворье вошёл полицай. Дядька не старый, здоровый, выбритый до синевы, в новом полушубке, игриво расшитом цветной сыромятью, на руке бело-жёлтая повязка.

— Здравствуй, Олейников. Как живёшь-можешь с молодой женой? Хорошо, говоришь? Ранение твоё поправилось? Не ранетый? Ну-ну, плети лукошко ивовое, гляди, карася словишь… Где Ульяна-то? Нету, говоришь. А у меня дело к ней — бригадиром её хотят назначить. Была же при Советах. Дело она знает. А ты за неё не крестись, она сама скажет. Передай, пусть зараз придёт в управу.

Уже от ворот кинул:

— Да, вот забыл ещё, мы тут команду по ремонту железной дороги набираем, ты не пошёл бы? Нет, говоришь? Ну, как знаешь. Так не забудь, пусть сегодня явится.

Совет держали недолго.

И разговор в управе тоже был короткий.

— Ну, коли не хочешь, в Германию отправим, а хахаля в лагерь за проволоку…

Не взвидев света, шла Ульяна по притихшим вечерним улицам. Хлюпал под ногами мокрый снег, низко над головой с

шумом пролетели галки. Мысли набегали друг на друга, какие-то вялые, куцые. А что, если поехать вместе с Николаем на эти работы?.. До сих пор ничего не говорит Лев Николаевич.

Со двора почтаря Галковича высыпала весёлая компания. Тишину непривычно резанула гармошка, недружно частушечным гиком завыли пьяные голоса. Широко распахнулись ворота, и, высоко вскидывая ломкие ноги, на улицу вылетел гнедой жеребец с лентами, вплетёнными в гриву. Лентами были обвиты дуга и зёленые тонкие оглобли.

Выбежал почтарь, высокий худой человек с неестественно прищуренным правым глазом. Тугой самогонный дух вился вокруг него.

— Двух сынов в Гирманию посылаю! — пошатываясь из стороны в сторону, звонко закричал почтарь. — Вы меня знаете… Два года в гирманском плену… жил как лебедь… Культуре выучился… Почтой вот заведовал у вас… Теперь сынов провожаю! Учитесь, сынки! Не посрамите, кобели, отцовску белу голову…

Последние слова его покрыли рёвом и причитаниями.

— Цыц мне, дурьё! — взвизгнул почтарь, но тут же повесил голову, повернулся, пошёл в избу.

— Как живёшь, Уля? — спросила подошедшая Варя, школьная подружка. — Да не смотри ты на эту кумедию, как живёшь?

— Кто б подумал… — сказала в ответ, а больше самой себе Ульяна и, не прощаясь, медленно побрела на свою улицу.

Назавтра вечером Ульяна пошла ко Льву Ивановичу. Учитель жил далеко, на другом конце села. В ожидании Ульяны Николай, погасив коптилку, прилёг на лежанку, и снова в его памяти отчётливо встала картина гибели Сашка. Он увидел яму, устланную жёлтыми, красными листьями, Сашка…

В сенях послышались шаги Ульяны. Николай вскочил, открыл ей дверь. Ульяна устало склонилась к нему, заплакала.

— Немцы расстреляли того человека, Коля. Я знала его. Это Мельников, секретарь колхозной партячейки. Лев Иванович говорит, что его выдал кто-то…

Медленно бредут по степной дороге волы, взбивая белёсую пыль. Скрипят немазанные колёса арбы. Изредка волы останавливаются, приметив вывалившуюся из повозки свёклу, торопливо хватают и долго жуют на ходу, пуская длинные сверкающие слюни.

Иван Ярыш и Николай уже вторую неделю возят свёклу с полей на сахарный завод в Малую Виску.

— Спалил бы кто это завод, что ли, — бубнит Иван.

— Как же! Спалишь его. Видел вчера: две машины немцев с собаками приехали, полицаям не доверяют. Вот мину бы достать… Ты в них не понимаешь, Ваня?

— Нет. Я — пулемётчик.

Их догнал невысокий плотный парень, в кургузом выгоревшем пиджачке.

— Гляжу, вы всё вместе да вместе. Ни до кого вам дела нет. Закурите?

Закурили. Пошли. Николай и Иван молчали.

— Фамилия моя Колесников, звать Григорием. Тоже из окруженцев, значит…

Он поглядел на Николая острыми прищуренными глазами.

— В братство своё примете? Втроём веселее… Будем буряки возить, думу думать…

— Судьбы у нас, как сапожные колодки, похожи друг на друга, — сказал Николай. — Что ж, приставай к нам, ежели не иуда…

Николай знает уже все ходы и выходы на заводе, примелькался немцам-охранникам, но все попытки пройти в главный цех ни к чему не привели — гнали в шею, грозили автоматом.

Приезжали на завод они всегда к вечеру. Взвесив свёклу, ссыпали её под откос в цементированную яму. На дне ямы проходил жёлоб, сильная струя воды уносила по нему свёклу на мойку. В моечной машине — громадном длинном корыте, наполненном водой, — быстро вертелись блестящие лопасти, перемешивая, перебрасывая свёклу, очищая её от земли. Лопасти гудели, вода пенилась, выплёскиваясь.

Машина работала сама, и лишь изредка сюда заглядывала мойщица.

Назавтра Николай остановился около железнодорожного переезда, будто бы исправить что-то в упряжи. Когда все подводы скрылись за насыпью, он побежал к двум сгоревшим вагонам, лежавшим невдалеке, быстро нашёл метровый кусок толстого углового железа, притащил к арбе, тщательно забросал его свёклой и тронулся догонять товарищей.

Сгрузив свёклу, он спрятал железяку у стены моечного цеха, отвёл к воротам волов и возвратился назад. Около моечной машины никого не было. Николай бросил железо в мелькающие лопасти. Не успел он прикрыть за собой дверь, как в цехе раздался грохот.

Через минуту Николай уже сидел на своей повозке и как ни в чём не бывало разговаривал с Колесниковым, поджидая Ивана, который выписывал пропуск на всех. Иван прибежал

взволнованный. Сказал, что случилась авария и надо поскорее удирать.

…Рано утром за Николаем пришёл всё тот же знакомый полицай, только теперь уже в чёрной шинели, а на фуражке непонятная немецкая кокарда. Ульяна побледнела, схватилась за косяк двери, глаза расширились в испуге.

— Собирайся, живо, сам Шевцов кличет! — крикнул он Николаю. На улице он шёл рядом. Николай догадался: полицай не хочет, чтобы односельчане видели, что он ведёт арестованного. Вынув портсигар, полицай предложил сигарету.

— Стецюк я, наверно, слыхал?

— А ты всё же стыдишься своей специальности, дядя, — сказал Николай.

— Ишь, смекалистый… А ты вот угадай, чего это тебя мой начальник призывает? Сказать? Завтра, брат, оденешь вот такую шинельку, винтовочку на плечо… Пойдёт красивая жизнь, Олейников… На пару пить-гулять будем — одна дорожка нас повёдет. Куда только она выведет…

Шевцова не было. Он приехал в полдень, и всё это время Николай просидел в узенькой заплёванной и прокуренной комнатке, где полицаи до обалдения играли в карты. Он слушал их разговоры, и его смятение всё усиливалось.

У крыльца остановился грузовик, полицаи мигом спрятали карты и, одёргивая френчи, выскочили в коридор.

С кузова столкнули троих — молоденькую девушку с разбитым лицом и двух мужчин средних лет — и повели в подвал. Николай узнал девушку — это была учительница Зоя.

Минут через пять Ригачина ввели к Шевцову.

— Позвать ко мне Молибабу, — сказал начальник полиции.

Вошёл Молибаба, щёлкнул каблуками.

— Хороши сапожки у моего парня, Олейников?

— Ничего.

— Не узнаёшь?

Фёдору Руденко шил такие…

— Правильно, его были, а теперь Молибабы. Но не об этом речь. Ты перед нами вдвойне в долгу — за себя и за свою, не знаю как и назвать, ну, скажем, жену. Не забыл, как она от бригадирства отказалась? Мы-то не забыли… Ну так вот… Нашему коменданту, господину Гаккелю, сапоги сделаешь. Да такие, что б… Ясно?

В кладовке, где вперемешку с разными чемоданами и сундуками стояли пулемёты, валялись патронные цинки, они выбрали лучший хромовый товар, подошвы, и Шевцов сразу же повёл Николая в комендатуру. Комендант, лысеющий староватый

немец, отложил в сторону тонкий глянцевый журнал и долго мял длинными синеватыми пальцами похрустывающую пахучую кожу.

Наконец это ему надоело, и он не торопясь, двумя пальцами вынул из кармана щеголеватого галифе белый платок, старательно вытер руки.

— Хорошо, — сказал Гаккель по-русски, медленно и непривычно растягивая слова. — Ты сапожник? Хороший мастер? Где ты учился ремеслу? В специальной школе? — Говорил он в нос монотонно и еле слышно. Сухие белые губы слегка кривились.

— Я работал в мастерской, — ответил громко Николай.

— Понимаю, твоими учителями были евреи. Они сапожники на всей планете… Ты военнопленный? Это видно, ты стоишь, как хороший солдат. Звать как тебя? Только говори тихо. Я не люблю шума.

— Олейников.

— Когда отвечаешь, надо добавлять: господин комендант. Ясно?

Николай молчал. Тишина стояла долго. Слышно было, как заржала лошадь и по улице проехала телега.

— Хм… Ну? Что же ты? Снимай мерку, — шевельнув квадратным носком начищенного сапога, чуть улыбаясь, произнёс Гаккель.

Николай почувствовал, как к щекам прилила кровь.

— У тебя простое лицо — ты рядовой солдат, и я ничего обидного не предложил.

— Я так… У меня хороший глазомер…

Комендант медленно повернулся и пошёл к окну. Осторожно, всё теми же двумя длинными пальцами, он прищемил тюлевую занавеску и осторожно потянул её в сторону.

— Ну что ж, увидим через неделю твой глазомер… Шевцов, ты арестовал этих агитаторов? Сапожник может идти…

…Ночью Ульяна повела Николая в соседнее село Габсино, оставила у материной родни. Договорились, что он поживёт у них недельку-другую, а тем временем Ульяна что-либо придумает. Попрощались, и Ульяна ушла.

Нестерпимо длинными казались дни. Николай починил старикам обувку, подшил валенки. Ульяна не приходила, и Николай собрался уходить на следующий вечер. Тётка Агафья постирала ему исподнее, гимнастёрку, стала собирать в дорогу. А с заходом солнца в дом ворвались полицаи и забрали Николая.

— Иду по улице, вижу — солдатские кальсоны висят. Дай, думаю, зайду познакомиться, — рассказывал один из них назавтра Шевцову.

В злынковской полиции Николая били шомполами, прикладами. Как-то к нему зашёл комендант.

— Что, сапожник, плохо тебе? — спросил Гаккель. Потом, насупив седые редкие брови, твёрдо сказал полицаям: — Не надо его бить по голове, он мастер, может потерять свой знаменитый русский глазомер…

Ивана Ярыша и Ульяну тоже арестовали. Ульяну отпустили только после того, как Николая, Ивана и ещё нескольких человек увезли в Адобашский лагерь военнопленных недалеко от Ново-Украинки.

В Ново-Украинку их привезли в полдень. Ввели во двор полиции, обнесённый высоким плотным забором. Было холодно, полетел первый снежок. Арестованных во дворе толпилось человек тридцать, охраняли их два полицая. Через час полицаи сменились, и в одном из них — низеньком старичке — Иван признал своего дальнего родственника.

Иван подошёл, наклонился к нему:

— Дайте прикурить, дядько Михайло…

Старик опешил, украдкой оглянувшись по сторонам, шепнул:

— За что тебя?

— Ладно, потом. Я не один. Его фамилия Олейников, — кивнул Иван на Николая. — Помогай, дядько Михайло.

Старичок отошёл в сторону, пошептался с напарником, поправив ремень, пошагал во флигель, черневший в глубине двора.

Вышел оттуда минут через пять с листком бумаги. Подойдя к толпе, выкрикнул:

— Ярыш, Олейников! Ко мне!

Не говоря ни слова, повёл за собой. Вышли в центр городка, зашли на базар, остановились в гуще людей.

— В Адобаше вам капут, хлопцы. Я бы отпустил вас, была не была, отсижу в карцере, но куда вам податься? Слушай, может, у Дмитрихи пробудете? Помнишь куму мою? Старушка одинокая. Тронули, со мной вас всё-таки не заберут…

Они пошли окраинами, переулками. Старик расспрашивал Ивана, что дома, как жена, дочка. Потом вдруг остановившись, хлопнул себя по лбу:

— Хлопцы, да вы же, наверное, не слыхали ещё. Немцев наши с Волги попёрли… Окружили полвойска. У них тут панихида была… Злые все… Напились, расстреливали… Так что началось, хлопцы… Вам теперь грех помирать, надо выжить…

Дмитриха — седенькая, немощная старушонка. С лежанки слезает только пообедать. Постанывает, худо, видать, ей.

— Эй, хлопцы! Воды подайте…

Иван выходит из чуланчика, черпает ковшиком из кадки.

— Посидели б со мной, старой… Прячетесь…

— Вас не хотим подвести, Дмитриевна.

— Мне уж всё едино, Ванюшка…

— Николай, иди сюда!

Сели на лавку, Николай прячет под мышки руки, сутулится.

— От ты издалека… Я и не слыхала про твою местность. Хорошо ли жилось у вас людям? Сытно?

— Неплохо, — отвечает Николай.

— То-то же… И у нас справно было. А нынче чего?

— На бога надеялись, а он промашку дал, — съязвил Иван.

— Ты бога не трогай, ты про себя говори…

— Турнём ещё, — неуверенно сказал Иван.

— Вы турнёте… Вон сколько вас по чуланам сидит… тыщи.

В сенях постучали.

— А ну живо на место! — шепнула Дмитриха, сползая с лежанки. — Может, это Мотя наша…

Так и есть, Мотя пришла, внучка.

— Хорошо, что наведалась. Жду я тебя. В Злынку сходишь, дядьки Ивана Ярыша жинку ко мне позовёшь, в гости. Перед смертью хочу с ней повидаться.

— Да что вы, бабушка…

— Завтра и сходишь. Батьке скажешь, что у меня весь день пробудешь. Вишь, по дому сколько работы. За день не переделаешь. Горшки, полы, печь побелить надо…

Наступило смутное время. Вечерами в Злынке ни огонька. Тревожный лай собак перебивали резкие выстрелы.

Николай и Ваня прятались в подполье у Григория Колесникова. Ночью выходили, и втроём зачастую до утра сидели в потёмках на кухне.

— Вызовут меня, я день за днём перескажу, как мы тут жили, сколько горя хлебнули, сколько слёз жёны наши выплакали, — продолжает нескончаемый разговор Иван.

— Знаете, ребята, — перебил его Николай, — я часто вспоминаю свой последний бой. И жалею, что меня тогда не убили. Если б я только знал, что так вот придётся, как суслику…

Григорий затягивается самокруткой, на миг лицо освещается красноватым светом, затем долгий кашель не отпускает его. В груди у него что-то хрипит и клокочет.

— А я приду и скажу: Да! В погребе отсиживался, на немцев работал, с бабой на печи спал. Да!

— Не один такой, понимаешь-нет.

— Я за себя ответ буду давать. Я обшарил все сёла, не нашёл партизан. Нет, не было их! Я скажу — ждал, каждый день ждал

вас и берёг себя для горячего дела… Не дадут винтовку — в бою у немцев вырву! — Последние слова Григорий говорит тихо, с уверенной силой. — Под Берлином убьют — согласен, но до смерти своей я этих гадов накрошу… за жену, за товарищей, которых вот этими руками десятками закапывал каждый день в лагере, за страх, с которым спать ложусь…

Николай встал и начал привычно ходить в темноте по небольшой кухоньке.

Ульяна приходила раз в неделю. Кралась огородами в нахмуренную беззвёздную полночь. Шла, не дыша, часто останавливалась, вглядывалась напряжённо в чернеющие кусты, — всё ей казалось, что вот сейчас выскочат, скрутят, начнут кровянить тонкими шомполами. Положат на широкую лавку, привяжут скользким кабелем… Так уж было… В тот раз Ульяна держалась гордо и независимо… Но теперь, когда смутно почувствовала в себе что-то новое, необычное, когда она, раньше смелая и решительная, стала вдруг сторониться людей и вместе с тем боялась одиночества, ей становилось до тошноты страшно при мысли о той зловонной каморке в полиции. Немая ночь. Всё тело напряглось в ожидании чего-то неминуемого. Споткнувшись о сухой подсолнух, сухо хрустнувший под ногой, она от испуга мягко осела на холодную землю. Но вокруг стояло прежнее безмолвие. Скрестив на животе руки, не в силах подняться, Ульяна повалилась вперёд, судорожно зажала рот и зарыдала.

Выплакавшись, она поднялась, поправила тяжёлый мешок на спине и снова пошла огородами, до боли в глазах вглядываясь в темноту.

…На сеновале так тихо, что слышно было, как где-то внизу в кладовке прогрызала старую саманную стену одинокая мышь. Ульяна свернулась в комочек — её знобит, ноги замёрзли, и она совсем не чувствует их. Молча Николай разглаживает морщинки на её холодном лбу, гладит брови, длинные густые ресницы.

— Положи руку под голову, мне так спокойнее. Стецюк снова приходил. Самогон требовал. Говорит, знает, где ты прячешься…

— Ну так чего ж не идёт за мной?

— Говорит, руки не хочу марать… Скоро в Злынку придут эсэсовцы, они и займутся…

Ульяна вдруг резко приподнялась, возбуждённо зашептала:

— Коленька, дорогой мой, забыла главное сказать — сегодня наши самолёты летели. Низко так, звёзды видела…

— Точно? Понимаешь-нет, я услыхал, разбудил Ваню, говорю, наши, а они уже пролетели… Потом думаю, может, в погребе всё по-иному и звук не так слышно…

— Ничего, Коленька, скоро теперь… Все говорят, скоро.

Ульяна не верила Стецюку, и всё же сердце подсказывало — надо что-то предпринимать. Назавтра же под вечер она побежала к Миценкам. Федора Алексеевна сидела за самопрялкой, большая, спокойная. Долго не наведывалась к ней Ульяна, и та обижалась, хотя всё понимала. Ульяна не сразу решилась сказать правду, думала, что запоздалое признание может совсем поссорить их…

— Простите, Федора Алексеевна, я неправду говорила вам — Коля здесь, в Злынке. Всех я стала страшиться, неладное со мной творится. Ой, боюсь я за него. Муж он мне стал по-настоящему… Ребёнок у меня будет. Не гневайтесь на меня, Федора Алексеевна…

И Ульяна рассказала, что давно уже они прячутся у Колесникова, а Стецюк будто бы пронюхал это. В сенях что-то громыхнуло, и Федора Алексеевна увидела, как Ульяна вдруг задрожала, побледнела, глаза наполнились ужасом.

— Да что ты, Ульянка, это же Гриша с кроликами там возится.

Давно Ульяна не видела и Григория Захаровича — мужа Федоры Алексеевны. За это время он сгорбился, поседел еще больше.

— А, Ульянко, пропавшая без вести… Стариков совсем забыла… — Григорий Захарович разостлал около печки старый мешок и бережно положил на него маленького белого крольчонка. — Падучая скрутила, — вздохнул Григорий Захарович. Ульяна дрожала мелкой неприятной дрожью, губы непроизвольно кривились.

Федора Алексеевна напоила Ульяну тёплым козьим молоком, уложила спать рядом с собой на печке. Там они и переговорили обо всём.

Решили в саду вырыть яму, утеплить её ботвой и соломой, накрыть хорошо сверху досками, присыпать землёй. Утречком всё обсудили с Григорием Захаровичем, тот согласился. Яму копали ночью, землю уносили в старую канаву за огород. Григорий Захарович, несмотря на годы, работал быстро, Ульяна с Федорой еле успевали таскать тяжёлые красноталовые корзины с землёй.

Яму вырыли глубокую, чтоб не обвалилась земля над нишами, в которых будут спать Иван и Николай.

Тёмной, глухой ночью Иван и Николай перебрались туда.

Жизнь на новом месте была нелёгкая. Воздуха не хватало, земляные стены дышали холодной сыростью. Тело покрывала неприятная испарина. Рубаха, фуфайка и даже шапка стали волглыми и тяжёлыми, впитали в себя неприятный запах сырой земли.

По утрам Николай просыпался от удушья, выползал из ниши,

карабкался по шаткой лестнице и раздвигал доски. Земля сыпалась на голову, а он стоял, втягивая прохладный морозный воздух, вцепившись худыми пальцами в тонкие поперечные перекладины.

Иван заболел. Теперь он всё больше сидел на старом пне, принесённом специально для него Григорием Захаровичем. Редкая чёрная бородёнка оттеняла бледную кожу лица, при коптилке запавшие глаза светились угасающими маленькими огоньками.

— Могилу выкопали, — отрывисто выдыхал Иван. — Здесь и похоронят. Вот увидишь…. Не дотянуть нам… без солнца…

В такие минуты Николай жалел, что нет рядом Колесникова. Вот тот бы возразил, пристально, по-особому посмотрел бы в глаза, ударил бы словом в самую душу.

Николай пытался уговаривать, старался рассмешить, но Иван только отмахивался. Завернувшись с головой в старое ватное одеяло, он снова заползал в нишу.

Иногда в полночь за ними приходила Федора Алексеевна, помогала вылезти из ямы, вела в хату. В потёмках они быстро ужинали, пили кипяток и лезли на печку — согреться.

Жёны приходили редко, чтоб не навлечь подозрений.

— Потерпи, Коленька, ещё немного. Чует моё сердце — скоро, — шептала Ульяна.

…В то утро Николай проснулся рано и понял, что его разбудил не холод, не желание глотнуть свежего воздуха, а тихое подрагивание земли. Он лёг на грудь и слушал далёкое гудение, толчки.

Николай растормошил Ивана, они, затаив дыхание, слушали далёкую канонаду. С рассветом к яме пришли Григорий Захарович и Федора Алексеевна… Они сказали, что ночью в Злынку вошли эсэсовцы и начали забирать оставшихся мужчин, угонять скот. Григорий Захарович набросал на доски ещё больше почерневших стеблей кукурузы, а к вечеру они с Федорой Алексеевной перетаскали сюда небольшой стожок и сложили его над ямой.

Ещё вблизи шла стрельба, а Ульяна уже прибежала к яме. С радостным криком разгребала сено и ботву, стягивала доски. Николай вылез первым, и Ульяна бросилась ему на грудь, плача от радости.

— Кончились наши муки, Коленька! Живы мы! Живы! Втроём жить будем. Сыночка вырастим.

Николай стоял, пошатываясь, вдыхал свежий утренний ветерок, смотрел поверх головы Ульяны. Прямо на них летела стайка истребителей.

— Наши, наши, — шептали беззвучно губы.

Ульяна вместе с Федорой топила баньку, носила воду, стирала исподнее.

Григорий Захарович подстриг Николая. Побритый, подстриженный, одетый в чистое, Николай выглядел похудевшим, молодым.

Гимнастёрку надел, к этому дню сберёг.

— Уже, — охнула Ульяна.

— Надо. Должен…

Село будто вымерло. Вдалеке, рядом со станцией, горел элеватор. Где-то за горизонтом ухали пушки.

На базарной площади около двух грязных танков толпились люди. Николай вошёл в толпу, прислушался. Женщины жаловались танкистам на свою горькую жизнь, спрашивали, совсем ли отогнали фашистов.

Странное чувство овладело Николаем. Ему хотелось подойти, обнять кого-то из них, сказать что-то важное, главное.

Он протиснулся вперёд, тронул за руку высокого, черноволосого танкиста.

— Понимаешь-нет, я из 12-й армии. Попали в окружение… Вот… Думал, не дождусь вас.

— Это вон к нему, — перебил его танкист. — Товарищ капитан! — крикнул он. — Ещё один.

Капитан влез на танк, откашлялся в кулак.

— Товарищи! Все приходят завтра в девять ноль-ноль. Вот в этом помещении будет регистрация призывников.

Он показал на дом, где раньше размещалась полицейская управа.

— Всем мужчинам передайте. Должны явиться без промедления…

— С вещами?

— Нет. Пока нет…

Николай вышел из круга. Пошёл к управе. Навстречу ему со двора вышел солдат, держа под уздцы двух низкорослых мохнатых лошадок.

— Эй, слышь! — обратился к нему Николай. — Пойдём ко мне. В гости пойдём.

— Нельзя, служба…

Николай вошёл во двор. Там трое солдат, сняв шинели, разгружали повозки, заносили в сарай тяжёлые ящики. Николай кинулся на помощь.

— Хлопцы, пойдёмте ко мне. Слушай, старшина, пойдём, поговорим.

Длинная шинель, мокрая внизу, хлестала старшину по

голенищам сапог. Шли по улице молча.

Вот на столе появилась бутылка самогону, запахло жареным салом. Ульяна, Федора, Григорий Захарович наперебой приглашали гостя.

Старшина долго и молча мыл руки, искоса поглядывая на накрытый стол.

— Ну, со свиданьицем! За ваше здоровье! За освобождение от немца, — чинно сказал Григорий Захарович, преподнося гостю стакан.

Старшина отпил немножко и набросился на еду. От него шёл приторный запах лошадиного пота и медикаментов.

Долго никто не разговаривал — все ели. У Николая стало горячо в груди, и он медленно высасывал холодный острый рассол из красных квашеных помидоров.

— Как там, на фронте? — наконец спросил Николай.

— Вначале туго было, а теперь — лафа, немец на заднице катится. Будто ему скипидаром…

— Я, понимаешь, старшина, в плену был. Из лагеря удрал. Еле выжил. Так мне как теперь? Куда идти? Принимаете таких? — Николай сказал это медленно, тяжело.

— Не знаю, не знаю, — ответил старшина. — Жди, позовут. Разберутся. Ежели вины нет перед Родиной, значит, будешь как все.

— Да какая же вина у него? — закричала Ульяна. — Не пущу я тебя, Коленька, не пущу на войну. Хватит, ты своё отвоевал. На кого дитя своё бросишь? — уже со слезами запричитала она. — Он поболее других горя видал!

— Больше моего вряд ли, бабонька. Я, если б рассказать, так… Пора иттить мне… Ты, парень, не тушуйся — разберутся…

Через два дня Николай и Иван шагали в небольшой колонне в Малую Виску. Впереди на двух подводах везли поклажу, на последней сидела Иванова жена с дочкой.

Позади остались Злынка с маленькими саманными домиками, сгоревший элеватор, взорванные станционные постройки. За селом колонна распалась, пошли вразброд, огибая длинные лужи на разбитой дороге. Снег на полях только сошёл, и земля пахла едва уловимым запахом талого снега, первых испарений, перепревшими стеблями гороха.

Николай вдыхал этот запах и думал о том, что эта чёрная жирная земля, к которой он раньше был равнодушен, стала ему ближе и роднее. Он пристально всматривался в небольшие ручейки, непонятно откуда берущие начало и куда стремящие свой бег, вглядывался в зелёную щетину молодой травки на склоне овражка, мысленно прикасался к желтоватым пушистым

котикам на кустах ивняка.

Ульяна шла рядом. Шла, тяжело ступая, но не подавая вида, что устала…

— Тепло идёт от земли… — сказала она.

Николай прищурился, нагнул голову и увидел, как воздух над полем дрожит и струится.

— Может, вас и не погонят сегодня, — с надеждой сказала Ульяна.

Но в Малой Виске их не задержали. Выйдя со двора военкомата уже большой колонной — человек триста — они под командой капитана и двух старшин зашагали на запад, на переформировку.

Перед отходом было прощание. Плакали бабы, пиликала гармошка, ржали лошади. Ульяна сидела на крыльце, тупо смотрела в землю.

— Строиться!

Николай глянул на Ульяну. В мгновение её лицо стало серым. Обозначились скулы, вдруг глубоко впали чёрные глаза. Закусив губу, Ульяна повалилась к нему на грудь.

— Пусть бы уж дочка была, не провожать бы на войну!

— Становись!

Взвыли женщины. Николай молча отрывает от себя Ульяну.

— Становись! Команда была!

— Без рук, без ног приму, только б живой, — невнятной скороговоркой шепчет Ульяна. — Без рук, без ног…

— Ну, будет, будет… К тебе возвращусь. Прежде к тебе, а потом решать станем. Может, здесь, а может, поедем… На озера наши…

— Равняйсь! Смирно! Напра-во! Шагом арш!

Колонна тронулась. Закачались спины. Тяжело ступает множество ног.

Снова по обе стороны дороги поля без конца и края.

/ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ВАШ ГЕРОЙСКИЙ ПОДВИГ
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ЗВАНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

Грамота Президиума Верховного Совета СССР
о присвоении Николаю Ивановичу Ригачину
звания Героя Советского Союза

В селе Валигоцово их разместили в большой новой, видимо, перед самой войной выстроенной школе. В пустых классах было гулко и неуютно. Ветер влетал в разбитые окна, гонял по полу потёртую солому, немецкие газеты, клочки бумаги. Ещё не выветрился приторно-сладковатый запах сигарет, воняло ваксой, рыбными консервами. Под стеной лежали набросанные друг на друга матрацы, подушки, полосатые одеяла. На подоконнике валялись жёлтые стеариновые плошки, изжёванные окурки, маленькие белые кубики, чем-то напоминающие пиленый сахар.

— Выплюнь — это же сухой спирт, — сказал Ивану совсем молодой парёнек с чёрненькими усиками. — Давай на нём чаю согреем. У меня котелок есть. Кто по воду? Ты, что ли? — обратился он к Николаю, задумчиво барабанившему пальцами по подоконнику.

Николай не отозвался.

Ваня принёс воду. Тем временем ребята затопили широкую изразцовую печку, газетами и грязными подушками заткнули окна.

На третий день во дворе в небольшой очереди у походной кухни Николай и Иван увидели Гришу Колесникова.

— Гришка, чертяка! — кинулся к нему Николай. — Откуда?

— Сегодня прибыл. Задержали в Злынке. Шевцова, кажется, поймали, так меня спрашивали о нём… Слушайте, братцы, надо отметить, а? Встречу нашу, освобождение.

— Дело, — заулыбался Николай. — Айда!

Но часовой, стоявший у школьной калитки, не хотел ни о чём слушать.

— Будь человеком. Не подведём. Одну всего бутылку выменяем. Тебя угостим, — уговаривал его Ярыш.

— Не положено.

— Ну, одного хоть выпусти, меня, — сказал Николай.

— Ты — тю-тю — на все четыре стороны, а я отвечай…

— Эх ты… — заскрипел зубами Николай.

— Отойди, стрелять буду!

…После того, как что-то уточнили в ранее составленных списках, поодиночке стали вызывать в особый отдел…

О чём там шёл разговор, никто не рассказывал. Иван пришёл усталый, постаревший.

— Ну, что? — шёпотом спросил его Григорий.

Иван вяло махнул рукой. Посидел немного на койке. Лёг, повернувшись лицом к стенке. Подошёл Николай, сел рядом.

— Ничего, Ваня, всё образуется. Вот увидишь, всё будет как надо…

Николая подняли среди ночи. Немолодой, давно небритый майор в засаленной диагоналевой гимнастёрке, дыша астматически часто и шумно, курил одну за другой тонкие тугие папиросы. Пепел падал ему на желтоватые пальцы, грязнил исписанные листы.

Ригачин доложил о себе, громко щёлкнул каблуками старых немецких ботинок, но майор не оторвал глаз от бумаг, густо залитых светом, бьющим из-под абажура старинной фарфоровой лампы. Было непонятно: то ли майор дремлет, то ли готовит какой-то страшный вопрос. Он заговорил тихо, еле слышно:

— Вилять не советую. Понял?

— Мне скрывать нечего…

— Как твоя настоящая фамилия?

— Ригачин…

— Ещё раз повторяю: как твоя настоящая фамилия?

— Ригачин.

— Хуже себе делаешь… Ну, ладно…

Он расспрашивал, откуда Николай родом, где был призван, в каком полку служил, фамилии командиров части, из которой попал в плен.

— Как же это удалось тебе выскользнуть из Уманьской ямы?

— Мы бежали втроём…

— Те двое, конечно, убиты? Так, так… Ну, а кто из комсостава в лагере служил у немцев? Не было таких? А Пекарского знал? Полковника Пекарского? Так… Так… Ещё одно уточню. Смотри на меня. Когда тебя сбили? Не темни — нам известно, что ты лётчик-истребитель…

— Не был я лётчиком — грамоты не хватило. Но я про другое, про главное хочу вам сказать. Будете слушать?

Майор молчал. Николай проглотил комок, вздохнул. Начал спокойно, но голос его заметно дрожал.

— Меня не убили в последнем бою. В Уманьской яме выжил. Сашка моего убили, а я остался. Зойку, учителку, растерзали, а я живой… Раньше мучился, совесть не давала шагу ступить. Теперь за них… за всех… Хочу…

Майор смотрел на Николая по-прежнему равнодушно, но, может быть, именно в эту минуту чаша весов склонилась в пользу Николая. Слишком уж много всякого повидал этот майор. Бывали и ошибки, но с этим парнем она, кажется, не случилась.

Через два дня друзья были зачислены в 287-й полк 95-й гвардейской стрелковой дивизии. После Валигоцова они ещё две недели проходили ускоренную переподготовку в Кировограде. Строевая, огневая, материальная часть, тактика боя… С шести утра и до восьми вечера на ногах.

Команда «отбой» — и сразу все в сон, так что и поговорить как следует некогда, разве что на занятиях во время коротких перекуров.

Подошла суббота, и вторая половина дня была почти свободной. В город не пустили, но никто особенно не отчаивался. Откуда-то появились гармошка, балалайка. Украинцы запели слаженно, красиво:

Їхав козак на війноньку,
Сказав: «Прощай, дівчинонько…»

— Хлопцы, хватит печали! А ну, дай русского! — крикнул Николай. Он вышел, лихо двумя руками разогнал складки под поясом старой гимнастёрки, выставил вперёд ногу. Он ждал, когда гармонист рванёт меха, каждый мускул был в напряжении. Николай пошёл по кругу, красиво выбросил руки, не глядя под ноги.

— Эх, рви гармошку, равняй деньки!

— Вот даёт, карел!

Николай бил чечётку с носка на каблук, мелкая отчётливая дробь летела по гулкому коридору.

— Сыпь, чёртова ступа!

— Не жалей!

Выскочил молодой парнишка с усиками, пошёл вприсядку вокруг Николая.

— Эх, паря!

Гармонист не выдержал, опустил руки и виновато замотал головой.

— Не играл, браточки, три года…

Гриша подхватил Николая — тот еле держался на ногах, — повёл по коридору. Подошёл Ваня. Постояли втроём, помолчали, думая об одном. Уж если свела их тяжёлая судьба, сдружила, побратала — идти теперь им плечо в плечо и крепко помнить о том, что с них, окруженцев, спрос особый. Каждому воевать за троих надо…

Перед отправкой на фронт выдали новое обмундирование, новенькие автоматы. Приехал командир полка подполковник Ерёмин.

— Вы вливаетесь в славный 287-й гвардейский полк. Это почётное звание мы заслужили в боях за Сталинград. Мы стояли насмерть, мы громили фельдмаршала Паулюса. Мы освобождали легендарный тракторный завод. Это была наша первая победа. Из подвала завода наши солдаты вывели пятерых генералов и семерых гитлеровских полковников. От Сталинграда, от стен тракторного этот полк начал своё великое наступление. Но за победы мы платили самым дорогим — кровью. Сотни людей погибли, освобождая наши родные сёла и города, освобождая вас. Впереди бои, впереди Берлин. Пока Гитлер жив, нет нам спокойного сна. Докажите в боях своим новым товарищам, что они не ошиблись, принимая вас в ряды непобедимых гвардейцев.

Когда прибыли в полк, Иван сразу стал проситься в пулемётный взвод.

— Товарищ майор! Руки чешутся… разрешите…

— Не понимаю…

— Доверьте. Первым номером служил в кадровой. Готов показать, ежели того… не верите…

— А ну-ка, пойдём со мной…

Через неделю Иван был уже пулемётчиком. Григорий и Николай остались вдвоём.

Николая и Григория взвод встретил нельзя сказать чтоб особо приветливо, обыкновенно встретил. Присматривались к ним.

Как-то ещё засветло остановились на ночёвку. Николай с Гришей и ещё трое расквартировались в небольшой хатке на окраине села. Под вечер к ним в гости пришёл почти весь взвод. Весело в хате: шутками, байками расшевелились, разгорелись, да и чай хозяйка как раз к беседе подала.

— Садись, маманя, в круг, теплее будет, — хохотнул сержант Малинин, кривоногий конопатый мужичонка с начищенной медалью на широкой груди.

Хозяйка, возившаяся у печки, вздрогнула, опасливо оглянулась. Чтоб сгладить неловкое молчание, заговорил взводный Козырев:

— Вот и хорошо, что мы тут собрались. Поговорим, познакомимся. Расскажи-ка о себе, Ригачин.

«Ну вот, — подумал Николай, — затем и пришли, чтоб душу по ниточке вытягивать…»

— Был в плену я. Не шибко раненым, почти здоровым попал… что, интересно, дядя? — резко спросил Николай громко причмокнувшего ефрейтора Фомкина.

— Я тебе не дядя, — осклабился Фомкин. — Я питерский металлист. И ты, давай, не шебурши, не дёргайся…

— Все мы нервенные, дорогой товарищ, — зашелестело из угла за клубом синего дыма. — Но не о нервах разговор — ты про сметанку нам расскажи. Много её употребил, сидя под подолом у бабы?

— Ну, коль так разговор пошёл, граждане хорошие, то могу сказать, что меня про сметану уже допрашивали. А то как бы я к таким героям в полк попал…

— Ты полк не трогай! Мы в Сталинграде да на Курской дуге кровью свою славу добывали! — закричал взводный.

— Хлопчики, выпейте чаю, — тихо вмешалась хозяйка.

Николай встал, накинул шинель и при настороженной тишине вышел.

— Скопом всегда бить хорошо, — начал тихо Колесников. — Один в зубы, другой в ухо, а третий, который посмышлённее, тот в душу норовит сапогом…

— Ты б помолчал, приятель, — перебил его Фомкин.

— А я, товарищ питерский рабочий, человек пуганый, — обратился к Фомкину Григорий. — Четыре раза помирал, да не помер. А ему похуже моего досталось. Кто из вас слыхал про Уманьскую яму? Хотите расскажу, посмеётесь от души… Раненым он попал в плен. Вся армия была окружена. Понимаете — армия! Слышишь, ты, питерский? Так, может быть, красноармеец Ригачин в том виноват?

— Говори, да не заговаривайся, — предупредил взводный, опустив глаза.

— Пусть говорит, как хочет, — сказал пулемётчик Чагин. — В таком разговоре соловьём не зальёшься. Давай, Колесников.

Григорий свернул цигарку. Когда прикуривал, все увидели, как у него дрожат пальцы.

— За то, что дали автомат, спасибо. Где надо — мы первыми пойдём. Злобы у нас больше, чем у кого другого… натерпелись… на сметанке…

Потрескивают самокрутки, озаряются на секунду посуровевшие лица.

— Схожу за ним, — сказал взводный.

Вошли они минут через пять, но в ожидании всем показалось, что прошёл час.

— Лошадей ходил посмотреть, так уж извините, — сказал Николай. Все с напряжением ждали этих первых слов, и когда он сказал их, братва облегчённо зашумела, закашляла.

— Да, видать, завтра снова дождь будет…

— Готовь, Женя, свою клеёнку на голову…

— Эй, мамко, давай ещё чашку, да садись ты к нам…

— Слышишь, Андрюха, катись за баяном, Малинин сыграет…

— Вот так-то лучше, как звать, сестрица?..

Испуганно мечется аленький огонёк над тонкой снарядной гильзой. Рвёт баян Малинин.

— Дочку у меня немцы забрали, — шепчет хозяйка.

Ходят худыми рёбрами выцветшие сиреневые меха.

— Ну что ж, пора и честь знать, — говорит взводный.

Хата пустеет. Женщина вздыхает на огонёк, и всё окунается в ночь.

1944 год. Румыния… Польша… Чужие, незнакомые страны. Что слыхал о них Николай, что знал? Проходя, проезжая, разглядывал он побеленные хатки в садах, луга, неубранные огороды, поля. Люди в лаптях попадаются, в вышитых как на Украине рубахах.

…Три года военных прошло, а будто целая жизнь. Пораскидать эту тысячу дней — хватило б на тысячу человек. А разве один Николай горя напился? Весь род славянский долго ещё будет петь сквозь слёзы, давать клятвы на могилах детей своих.

В начале августа после завершения Ясско-Кишинёвской операции 287-й полк из Румынии был переброшен в Польшу и прямо с марша начал штурм Вислы.

Завязались короткие, но жестокие бои.

Взвод Козырева был выдвинут вперёд на поддержку разведчиков, которые первыми должны были пробиться к реке.

Солнце медленно опускалось в Вислу, в тонкие остролистые камыши. Мины, падая в болото, рвались глухо, мирно, будто кто-то бил палкой по дуплистому дереву.

— Ну и сыплет, — сказал Григорий.

— Заметили, гады. Не удастся разведчикам скрытно подойти, — ругался взводный. — Эй, там, не ползите кучей! Рассредоточиться!

Мины рвались вокруг. С того берега застучал крупнокалиберный пулемёт. Прямо перед взводным взлетела земля. Из камыша выполз раненый разведчик:

— Засекли… Отступать надо. Стемнеет, снова пойдём.

Разведчик был прав.

— Отходить! Передай по цепи. Отходить!

Вечером недосчитались Малинина, Ригачина и Колесникова. Кто-то сказал, что видел, как они поползли влево по направлению к старым постройкам.

Возвратились к полуночи с «языком». Николай доложил Козыреву.

— Ты что же, старший? — спросил взводный.

— Вроде так, — ответил Николай.

— Чтоб подобное самовольство было в последний раз, понял? Разведчики мне нашлись. А ты, Малинин! Старый солдат, вместо того, чтобы пресечь…

— Нам надо к комбату, товарищ лейтенант. Срочно, — сказал, торопливо затягиваясь табачком, Малинин.

Комбат Чёрный выслушал внимательно Николая и сразу же доложил по телефону командиру полка:

— Обнаружены четыре катера. В лозняке замаскированы. Приготовлены для отхода немецких минёров. Они сейчас берег минируют. Всё точно. «Языка» взяли, подтверждает, офицер. Разрешите действовать.

Всю ночь длился бой. На рассвете почти весь полк вышел к Висле. Только успели окопаться — пошли самолёты. Под бомбами просидели до вечера. С наступлением темноты сапёры начали наводить мост. Наша артиллерия молотила квадрат за квадратом. Вся 5-я армия начала бой за главную польскую реку.

Часа в четыре утра полк переправился через широкую Вислу. Не выдержав натиска, немцы быстро откатывались назад. Пройдя с боями километров тридцать, полк занял оборону. Дня через три Николая вызвал комбат. Разговор был недолгий.

— Спасибо, Ригачин, за «языка».

— У меня просьба, товарищ капитан.

— Давай…

— Переведите в разведку.

— Ты что, до плена в разведке был?..

— Нет… Нас двоих — меня и Колесникова. Командир взвода, старший лейтенант Даиров, согласен взять нас.

Комбат вызвал Даирова. Командир взвода разведки подтвердил, что парни ему понравились и он их возьмёт, ведь ему давно обещано подкрепление. Конечно, придётся их подучить, пройдёт время, пока они станут настоящими разведчиками… Комбат согласился.

…Шли дни, но наступления не было — выравнивали фронт. 287-й полк занял эшелонированную оборону впереди местечка Сташув. Установилось затишье, и этим воспользовался Даиров. С рассветом он сам поднимал Николая и Григория, брал ещё двух разведчиков, и они уходили в поле.

У Николая получалось лучше. Выручал небольшой рост — Николай мог спрятаться в маленькой ложбине, пролезть в самую узкую щель. Сильные руки, быстрая сообразительность, вёрткость неизменно приносили ему победу.

— Славно, ребята, славно, — говорил Даиров. — Злость для разведчика просто необходима. Был у нас Гоги Сванидзе — герой, орёл. Вот у кого злость, как змей. Погиб, правда…

После обеда разведчики отдыхали. Чистили оружие, приводили в порядок снаряжение, обмундирование. В воскресенье Николай и Григорий отпросились у взводного, пошли в городок…

У каких-то женщин спросили, где можно найти фотографа, который сделал бы карточки — надо послать домой. Женщины долго объясняли им, какими улицами и переулками следует идти.

Фотограф — очень худой кудрявый горбун — приветливо открыл калитку, зацокал, засуетился. Он усадил гостей в саду за низенький столик, крикнул что-то в раскрытое окно. Миловидная сероглазая женщина с толстыми косищами принесла большую плетёную хлебницу с краснобокими яблоками.

— Разрешите мне вас так и снять под яблоней? Это очень необычно. Воины кушают фрукты.

Николай воспротивился — фотография не баловство. Надо повесить простыню, сесть перед ней. Но фотограф, видно, не понял, о чём говорил Николай, и, быстро устроив аппарат, накрылся с головой чёрным шёлковым платком, щёлкнул два раза пальцами. Потом он, смущаясь, спросил, не позволят ли «паны офицеры» сесть рядом с ними его жене Зосе.

Когда они уходили, горбун насовал им полные карманы груш и без конца твердил о том, что завтра он сам отыщет их, и «паны жолнежи»[6] будут иметь настоящую работу.

Вечером Даиров получил приказ прощупать немцев. Через полчаса разведчики вышли на задание. Когда проходили переднюю линию окопов, Николая окликнули. Это был Иван. Он

проводил их немного, упросил взять свой кисет с табаком.

— Моя снова что-то болеет, — сказал Иван. — Огород на себе вспахала — с весны хворает. А как Ульяна?

— Тоже, видать, нелегко. Правда, пишет, что пшеницы ей дали в колхозе малость. Сад уродил хорошо…

— А у моих корова приблудилась беглая, радость, сам знаешь, какая, — сказал Григорий.

Попрощались и растаяли в ночи.

— Забыли мы парня. Навещать его надо бы почаще, — сказал Григорий, когда они уже догнали своих.

— Плохо, что мы не взяли его к фотографу, — буркнул Николай.

— Ребята, вы нашли фотографа? — обрадованно спросил шедший рядом молоденький паренёк Юра Пронин. — Маме хочу послать. Одна она у меня. Не виделись столько.

— Вернёмся, сходим к поляку вместе.

…Возвратились они через два дня, потеряв одного убитым, четверо были ранены.

Ночью они резали и сматывали связь и напоролись на боевое охранение немцев, но сразу же откатились и ушли. К утру, разделившись на две группы, устроили засаду в небольшом лесочке у шоссейной дороги. Только успели замаскироваться, подошли три санитарные машины. Их пропустили. Следом за ними выскочила на дорогу длинная пятнистая легковушка, за ней грузовик с брезентовым фургоном.

— Берём! — крикнул Даиров.

Две гранаты легли перед легковой, пулемёт прошил брезент грузовика. В кузове немцев было немного, и у Николая отлегло на душе. Первых трёх, спрыгнувших на землю, взяли Григорий и Юра. В это время Николай вместе с командиром отделения Багдасарьяном ползли уже к машине. По ним открыли огонь откуда-то из-за переднего колеса.

Приподнявшись на локте, Николай кинул гранату точно под кабину, а Багдасарьян бросился влево в обход, чтобы посмотреть, есть ли ещё кто в кузове грузовика. Два раза он крикнул по-немецки, из-за брезента раздалась очередь. Багдасарьян упал.

Через минуту из горящей машины вытащили раненого унтера. Приговор был коротким. Багдасарьяна наскоро закопали в свежевырытом окопе и побежали догонять группу Даирова, уже отошедшую в лесок.

Взяли хорошие трофеи — два офицера, два толстых портфеля. Уходили бегом, немцев подгоняли прикладами. За леском сразу началось болото. Облегчённо вздохнули, вошли в

реденькие камыши, побрели по пояс в воде. Шли долго и лишь к полудню расположились отдыхать на шатких косматых кочках.

Ждали до вечера. С наступлением темноты побрели дальше и вышли точь-в-точь в такой же лесок, в котором вели бой. Николай решил, что заблудились, но, как бы угадав его мысли, Юра тихо сообщил ему, что Даиров — прирождённый разведчик и следопыт, с ним можно идти на любое рискованное дело, и всегда будет порядок. В полночь наткнулись на кабель, который привёл в небольшое село. В разведку пошёл сам Даиров, взял с собой Юру и ещё двоих. Они сняли часового, и тот, перепуганный насмерть, рассказал, что в селе стоит особое подразделение артиллеристов, которые выполняют какое-то специальное задание.

Стали уходить к своим. Сказывалась усталость, бессонная ночь, сдавали нервы. А тут ещё пленные. Один из них наотрез отказался идти, и по приказу Даирова его волокли на себе второй немецкий офицер и часовой-артиллерист.

Когда рассвело, невдалеке на взгорье увидели хуторок. Подошли поближе, оказалось, что это брошенное селение. Места пожарищ, разрушенные сараи, кирпичный гараж, колодец под разбитым навесом. Решили здесь ждать ночи. Даиров обошёл все постройки, долго осматривал следы на дороге и приказал разместиться в гараже. Хотя все валились с ног, Даиров отдал распоряжение вырыть позади гаража окопчики. И здесь ещё раз сказался опыт взводного.

Под вечер, когда все уже отдохнули и поужинали консервами, а на закуску — яблоками из сада, когда через полчаса решено было двигаться, к хутору подъехали две бронемашины. Вначале они остановились у дороги, затем медленно стали подъезжать к сараям. Даиров нервничал, он не понимал, случайность ли это, или немцы выследили их…

— Пулемётчики, к окнам. Ригачин, ты командуешь отделением Багдасарьяна во дворе. Мы остаёмся здесь.

Через узкое боковое окно Николай выскочил из гаража последним — ребята уже лежали в вырытых утром неглубоких окопах. Не успел Николай осмотреться, как его подозвал Даиров.

— Пленных забери к себе. Положи под стеной. Да аккуратно, чтоб кляп не выпал.

Немцы вылезали из окошка медленно — мешали связанные руки. Николай подгонял их стволом автомата. Разлетелась первая очередь. Николай пополз к своему окопчику и увидел, как метрах в семидесяти падали, словно подкошенные, немцы. Те, кого ещё не настигла пуля, бежали назад к машинам.

— За мной! Гранаты! — крикнул Николай.

Но до машины гранаты не долетели. Разведчики залегли и стали пробираться от яблони к яблоне, вперёд. Из гаража не прекращали огонь пулемётчики.

Николай заметил, как два немца торопливо подсаживали в кабину переднего транспортёра водителя, видимо, раненого. Ригачин быстро поднялся и высоко, через яблоню, бросил гранату. Упал с облегчением, поняв, что цел, что никто не выстрелил в него. Граната рванула прямо перед машиной.

— Окружай! — закричал Николай.

Но несколько немцев, оставшихся в живых, бросили бронетранспортёры, раненых, почти не отстреливаясь, убегали в нескошенное гороховое поле.

Николая остановил Даиров.

— Назад! — кричал он, выскочив из гаража. — Назад!

Стали быстро уходить из хутора. Темнело. Николай пересчитал своих и не увидел Пронина. Григорий шёл невдалеке, а Юры не было.

— Где Юра?

— Ранили…

Николай побежал к замыкающим — там несли кого-то на палатке, это был пулемётчик Ляхович, а Юру поддерживал здоровый, самый сильный во взводе Никольцев. Пуля попала в руку, но кость, видимо, не была задета, потому что Юра не жаловался на боль.

— Молодцом, Коля, — сказал Пронин. — Здорово получилось. А я вот подкачал, чёрт меня подери. Фотографироваться не придётся.

Линию фронта перешли благополучно. Когда почти поравнялись со своими окопами, немцы послали вдогонку десяток мин. Но мины рвались далеко справа. Николай шёл рядом с Григорием, тот всё вспоминал прошедший бой, рассказывал, как он взял на мушку троих, как…

Вдруг Николай почувствовал резкий толчок в спину. Это было так неожиданно и страшно, что, казалось, шевельнулись волосы под пилоткой.

— Слышь, Гриша, меня…

После донесения Даирова дивизия мощным клином устремилась в «окно» немецкой обороны. Прорыв увенчался успехом — заняли городок Хмельник. Перед наступлением Николая и Юру, как они ни уговаривали, всё же перевели из санбата в Сташувский госпиталь.

Раненых было много, и в старом помещичьем саду разбили две длинные палатки. Здесь были такие же порядки, как и во всех

других госпиталях: чтобы раненые не удрали на фронт, у них отбирали обмундирование, оставляли в одном нательном. И в городок не сходишь. Только и оставалось, что залезть на присадистый забор из дикого камня и ловить своих, проезжающих мимо: и тут уж хочешь не хочешь, а выкладывай фронтовые новости.

Сидящими на заборе их и увидела Зося.

— Матка бозка! — всплеснула она руками и заулыбалась.

Она рассказала, как муж её, Янек, искал их, но всё напрасно, и вдруг такая радость. Вечером к госпитальной палатке Зосю и её мужа-фотографа привела сама Берта Григорьевна, главный хирург. Зося разостлала под яблоней вышитую скатёрку, вытащила разную снедь. Николай и Юра сидели, завёрнутые до пояса в одеяла. Им было неловко, но больше оттого, что рядом в непотребном виде шастали их ребята, с любопытством и откровенной завистью поглядывая на Зосю и на богатое угощение.

Ян отдал фотографии. Небольшие, с непривычными зазубринками по краям.

— Понимаете, деньги у нас в госпитальной каптёрке, — объяснил Николай.

— Ах, какие глупости! Мы с Зосей молим бога, чтобы вы скорее разбили немцев. Потом вы будете ехать домой. Вы заедете к нам. Так я говорю, Зося? Мы будем пить-гулять три дня и три ночи. Пройдёт тридцать лет, и ваши внуки будут смотреть на снимки, сделанные в Польше Яном Стжибульским.

— Ты сделаешь их цветными, — сказала Зося.

— Да, да, цветными, — заспешил Ян, благодарно кивнув жене.

— У вас есть дзецко? — спросила Зося Пронина.

— Ну что вы, — съёжился Юра.

— А жив ли ваш приятель? — пытаясь сгладить неловкую паузу, спросил фотограф.

— Жив-здоров, я кажется, вам говорил…

…Зося приходит в сад каждый вечер. Только стемнеет, уходит Юра.

Николай долго ничего не знал. Мало ли, ведь человеку иногда надо побыть одному. Но Юра потом стал исчезать и днём. Он словно избегал людей. Не приезжали ни Ваня, ни Гриша.

Пусто стало вокруг. И от этой пустоты, от смутных догадок Николай снова со щемящей тоской вспомнил Сашка, вспомнил Антоновичи с таким же белоколонным помещичьим домом, как и в этих Сташувах. Тогда же он решился:

«Мамаша!

Пишет вам письмо Николай Иванович Ригачин.

Я служил с Александром Игнатьевичем, с вашим Сашей, под Коломыей, отступал с ним до Умани. В 41-м году мы попали в плен, и там нас морили мором. Но Сашок был сильным. И, спасибо ему, он помог мне бежать из плена. Мы шли к вам. Безоружного его убили полицаи. Я его и похоронил.

Не плачьте, мама.

Не будет у вас единого сыночка, а у меня — родного брата. Долго не мог я решиться написать это письмо. Была у вас надежда, знаю. А теперь не будет.

Простите и бывайте здоровы. Жив останусь — приеду, расскажу подробно про всё…»

Ночь тёплая, душистая. Полог палатки откинут, и влетающий с ветром запах яблок перебивает устоявшийся госпитальный дух.

Радостная была встреча в полку. Ребята окружили друзей, засыпали вопросами. Услыхав крики, из блиндажа выскочил Даиров, затягивая на ходу ремень.

— Молодцы! Богатыри! — прохрипел он простуженно и обнял Николая и Юру. Не успели друзья опомниться, как они уже сидели на койке взводного в блиндаже и отвечали на вопросы, которые сыпались со всех сторон.

Даиров подал им две кружки, наполненные до краёв.

— Ничего, вам можно, — сказал взводный. — А нам — по глотку: могут ночью поднять. За возвращение в родной кишлак!

Николай долго пил непривычно пахнущее, крепкое вязкое вино.

— Рому мы тут бочоночек достали, — разъяснил Никольцев. — Нравится? У меня лично голова назавтра несвежая…

— Слушай, Николай Иванович, — перебил его Даиров. — Для тебя есть новость. Сказать? Ты теперь командир отделения. Приказ есть. Всё как надо…

Николай смутился.

— Ты что? — спросил взводный.

— Рановато ещё. Ну, в общем, пусть хлопцы скажут…

Все загудели, понравилось, что Николай так повёл этот разговор.

— Парень сообразительный, чего там…

— Головой не рискует, как другие у нас…

— Главное — не крикун…

— Ну что ж, налей-ка, Никольцев, ещё им, — распорядился Даиров.

Пока наливали, у входа в блиндаж зашумели, стукнули дверью. При свете коптилки Николай не мог различить, кто вошёл.

— О, подкрепление прибыло! — крикнули от двери. — Пропустите меня, ребятки, к земляку…

Ловко сбросив через голову автомат, Григорий Колесников перешагнул через сидящих на полу, крепко обнял Николая.

— Тише ты, медведь, спина ещё не зажила, — взвыл Николай.

— Ну, как там, Григорий? — спросил тут же Даиров.

— Ничего нового нет, товарищ лейтенант. Роют траншеи слева от дороги… В общем, готовятся к обороне. Тебе письмо, Коля… Уже давно получил, но никак не мог передать.

Николай торопливо раскрыл измятый треугольник и наклонился к прыгающему языку красноватого пламени. Лицо напряглось, губы вдруг дрогнули…

В блиндаже стояла мёртвая тишина, слышно было, как потрескивал фитиль в гильзе, как где-то далеко-далеко гудели самолёты.

— Дочка у меня родилась, хлопцы…

С каждым днём всё больше ощущалось приближение большого наступления.

Ночами где-то в тылу рычали танки, всё чаще приходили артиллерийские разведчики, вечерами появлялось большое начальство.

Подготовку к наступлению лучше других чувствовали батальонные разведчики.

— «Языка» давайте! — кричал по телефону с утра комбат Чёрный Даирову. — Мне начальник штаба проходу не даёт. Каждую ночь приказано ходить на охоту. Было время — отдыхали, а теперь давайте…

Немцы усилили свой передний край, стали осторожнее, и разведчики зачастую возвращались с пустыми руками.

Пошёл первый снежок. К полудню солнце пригревало, и снег таял, оставляя мокрые поблескивающие лужицы.

Николай шёл по длинной траншее, всматриваясь во встречных солдат.

— Ярыш? Пулемётчик? Где-то там, — отвечали ему.

Иван обрадовался, засуетился, достал кисет.

— Пришёл место выбирать… — сказал Николай. — Приказано ночью сходить в разведку. Ну и решил к тебе — свой человек, защитишь станкачом. Чувствую, достанется сегодня…

Ваня подвёл Николая к «максиму», показал сектор обстрела, рассказал, в каком месте можно незаметно подползти к

переднему краю. Расположившись поудобнее, Николай неторопливо начал изучать в бинокль метр за метром немецкую оборону.

Ваня, присев рядом, рассказал о новостях. Недавно его представили к награде. Из дому получил хорошие вести. Жена пишет, что урожай собрала неплохой, хату починила.

— Два раза была у твоей Ульяны. Девочка здорова, говорит, на тебя похожа.

— Она, понимаешь-нет, хотела дочку. Я-то, конечно, сына, ну а теперь и дочке рад. Пишет, что саман начнёт лепить с весны, чтоб я приехал и сразу дом будем новый строить. Ты, Ваня, как думаешь, месяца через три немца прикончим?

— Приехал Козырев, помнишь, взводный. Был в тылу. Говорит, войск нагнали видимо-невидимо. Собираемся немца гнать до Берлина без остановки. Я думаю, если хорошо дело пойдет, через месяц «фрица» добьём.

— Приедем в Злынку, праздник затеем, да, Ваня?

— Ты биноклем-то не шибко верти. Тут у них снайпер есть. Позавчера одного парня с нашего взвода…

— Гляди, Ваня…

Далеко на левом фланге за «костылём» — немецким самолётом-разведчиком — гнался наш истребитель. Видно было, как немец старался прижаться к земле, как он вертелся, как издалека стали бить по истребителю зенитки…

В полночь отделение Николая ушло в разведку. Возвратились под утро без пленного. День отдохнули, вечером снова ползком, к немецким траншеям…

Николай написал в Заонежье сестре Наталье пять писем. Ответа всё не было. Первое письмо он получил перед Новым годом.

«Коленька, братец родимый!

Получила я твоё письмо и стала совсем глупая от радости. А то всё слезы рушила. Чуяло моё сердце, что жив ты. Уж ты не злись, не ругайся — Богу молилась за тебя да за Алексея. Вот и живые вы, Алексей мой на Урале, в госпитале…

Береги себя, Коленька, ой, береги! Род-то наш, Ригачиных, вымирает. Из мужиков ты да брат Яков остались. Об Якове пока не слыхать, ждём, когда объявится. Натерпелись мы, Коленька. Горбатились на чужаков.

После врага азарт к работе у всех в деревне. Не беда, что хвораю — попросилась я на ферму, теперь с утра до

вечера там.

Поклоны тебе от всех.

Иришку помнишь? Кланяется тебе, карточку просит.

Твоя сестра Наталья».

На календаре долгожданное 12 января 1945 года. Стрелки хронометра отсчитывают время. Последние минуты, 4 часа утра. Шквал артподготовки. Два с половиной часа били пушки по укрепленной обороне фашистов. Еще не умолк грохот, а уже вперед устремились танки, пехота…

Наступление началось по всему фронту, и ничто уже не могло остановить его. В январе дивизия вступила на территорию Германии. Грязный, окровавленный снег. По полям широкие развороченные танками колеи. Сотни машин, самоходок, пушек. Колонны пехоты. Гигантские бело-красные веретена проносятся над головой и сразу же исчезают: это работают «катюши». Идут войска. На перекрестке высокий добротный столб — указатель. Черная готическая подпись: «Берлин — 400 км».

В ночь на 21 января 1945 года 287-й полк продолжал гнать немцев на запад. Снег, шедший с вечера, перестал. Ветер прогнал косяки туч, и над головой задрожали редкие утренние звёзды. Но через час снова наползли толстенные тучи, небо стало низким, чёрным.

После полуночи командир полка Ерёмин и начальник штаба майор Куприянов вызвали к себе комбатов.

— Впереди польский город Ключборк, или Крайцбург, как его называют немцы, — сообщил начальник штаба. — Посмотрите на карту. Здесь главный удар полка. Наши соседи будут действовать слева и справа.

— Город будем брать сходу, — перебил его подполковник Ерёмин. — Надо ворваться в Крайцбург у немцев «на пятках», не отставая и не отрываясь. Каждая минута промедления — лишние человеческие жизни. Ясно? Необходим «язык». Мы не знаем, сколько их там, как укреплён город… Рассмотрим задачи батальонов…

…По мелковатой, занесённой мокрым снегом балке взвод Даирова добрался до противотанкового рва, от которого было рукой подать до первых домов Крайцбурга.

— Ригачин, ты пойдёшь вправо. Я со вторым отделением — прямо. Далеко не заходить, — отдал приказ Даиров.

Километрах в двух от них, там, где подходил полк, начали рваться снаряды. Чувствовалось, что немцы пока бьют

беспорядочно. Впереди всё было спокойно.

Они проползли метров триста и увидели у длинного пакгауза немцев, торопливо грузивших что-то в машины.

— В обход! — шепнул Николай. — Пронин, вперёд, гляди в оба!

Медленно светало, сквозь мглу всё явственнее проступали невдалеке ровные ряды щитовых бараков.

— Концлагерь, — шепнул Юра.

— Ещё один, — сказал Николай. — Сколько же они их понастроили, звери двуногие… А ну за мной!

Но лагерь был пустой. Они перемахнули через невысокую стену, миновали два недавно побеленных сарая и вышли к высокому кирпичному дому. Ставни закрыты, двери замкнуты. Невдалеке взвилась ракета, за ней другая. Дальше в город идти было опасно.

Николай приказал трём разведчикам остаться внизу, а сам с Григорием полез по скользкой пожарной лестнице. Лестница подвывала, как пила на ветру, а может, это просто гудело в голове от высоты. Железная крыша под ногами предательски ухнула — Николай на секунду замер, потом быстро пополз к слуховому окну. К счастью, стёкол не оказалось, и Николай, распахнув раму, прыгнул на чердак. Отдышавшись, перешли к противоположному окну, выходившему в центр города. Впереди — широкая улица. К ней стекались ровными белыми полосами улицы поуже и покороче.

В бинокль было хорошо видно, как немцы громоздили баррикады, противотанковые заграждения, перетаскивали пушки, пулемёты и выгружали фауст-патроны. Николай и Гриша быстро спустились на землю и побежали назад к сараям.

Николай первым завернул за угол и наткнулся на трёх немцев, устанавливающих пулемёт.

— Руки! — скомандовал он. — Одно слово — и смерть!

Ребята сноровисто сняли с них автоматы, подхватили пулемёт.

«Ну и вороны, никто даже не каркнул», — подумал Николай.

Когда переползли противотанковый ров, высокий пожилой немец торопливо заговорил на ломаном русском языке.

—Я хочу в плен. Вы гуманная нация, мне надоело всё это. Война, кровь, кошмар. У меня жена, ребёнок. Гитлер капут!

Пальцы Николая прикипели к автомату. Давно не было во рту у него этой проклятой медной горечи. Стало трудно дышать. Тошнота поднялась мохнатым клубком.

Наконец это состояние прошло, и Николай, облегчённо вздохнув, опустил автомат.

Даиров уже ждал.

— Бегом! — закричал он. — Через пять минут твои «фрицы» никому не нужны будут.

Когда они выскочили из балки, полк уже вплотную подходил к городу.

И тогда Крайцбург обрушил огонь всех пушек, всех шестиствольных миномётов, пытаясь отгородиться от наступающей пехоты косматой огненной стеной.

Разведвзвод вместе со всеми пошёл на штурм. Из окон домов сверху и снизу стреляли немцы. Солдаты врывались в подъезды, дрались за каждый подвал, за каждый этаж. К низким тучам тянулись дымы подожжённых домов.

Забежали за угол дома, закурили. Откуда ни возьмись — Даиров.

— Э, братцы, так не годится. Пошли, вон ту хибару заберём.

— Ничего себе хибарка, три этажа…

Николай и Даиров вбежали в подъезд, метнулись на второй этаж.

В одной из комнат стрелял пулемёт. Даиров вышиб плечом дверь, Николай дал длинную очередь.

— Гляди, эсэсовцы! — крикнул Николай.

Когда стали бить в следующую дверь, оттуда ответил автомат. Пули прошили дверь, щепками расцарапало лицо Даирову.

Быстро поднялись на третий этаж, и Николай, живо перегнувшись через подоконник, бросил гранату в окно, откуда стреляли.

Следующий дом был двухэтажный, из красно-бурого кирпича. Из-под крыши били пулемёты. Автоматчики вели огонь из нижних окон. Даиров послал троих солдат в дом напротив, чтоб те отвлекли немцев. Малинину приказал прикрыть их пулемётным огнем.

— За мной, разведчики! — крикнул взводный.

Из одиннадцати к дому проскочили лишь семеро.

Николай, прижимаясь к стене, подполз под ближайшее окно и бросил гранату. В это время Даиров гранатой подорвал забаррикадированную входную дверь. В дымящийся пролом вскочил взводный, за ним Юра Пронин, Никольцев.

Убедившись, что в комнате никого нет, Николай быстро влез в окно, но, споткнувшись о развороченные доски, упал. И это спасло его. Пуля едва задела шею. Стреляли из соседней комнаты. Решив, что Николай убит, немец вышел из укрытия, но тут же его настигла пуля Николая.

На втором этаже на площадке Николая встретил Юра.

— Ну, кажется, всё, — сказал Юра. — Даиров пулемётчикам подвёл черту…

— Перевяжи меня, — попросил Николай. — Как там, не очень?

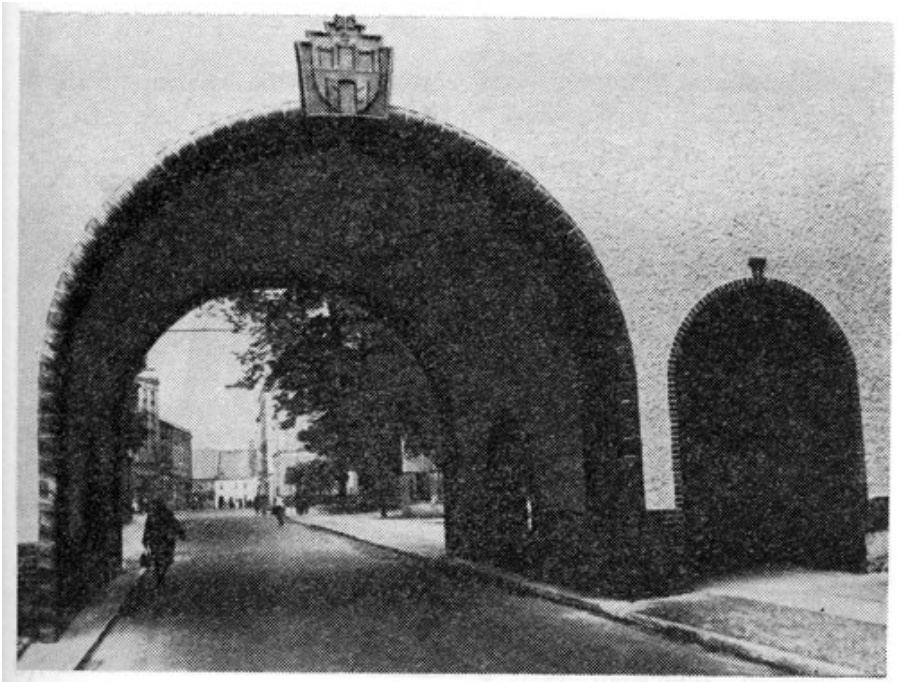
— Пустяки, ничего страшного…

— Хороший денёк сегодня, понимаешь-нет. Везёт. Тринадцать «фрицев» прибрал, — сказал Николай.

— Число неважное — надо до двадцати дотянуть, — засмеялся Юра, бинтуя ему шею.

Шатаясь, вышел взводный, лицо у него было в крови.

— Ну и улица нам досталась, Ригачин… Видел я сверху баррикаду, про которую ты говорил…



В 1945 году здесь, у городских ворот Ключборка, фашисты возвели баррикаду. Разгромив ее, солдаты 287-го полка увидели вдалеке дом — белый двухэтажный

Баррикаду взяли дружной атакой с флангов. Позади уже было три освобождённых квартала. За баррикадой открывалась узкая площадь. Прямо на противоположной её стороне стоял длинный двухэтажный дом с высокой черепичной крышей. Дом выдавался вперёд и очень хорошо просматривался из-за баррикады. Улица, по которой наступал полк, упиралась в него. Немцы вели беспорядочный автоматный огонь с чердаков и окон. Темп наступления нарастал. Когда до дома оставалось метров сто, из подвального окна ударил пулемёт.

Когда советские бойцы ворвались на эту площадь, из подвальных окон дома, стоящего впереди, ударил пулемет

Залегли за домами. Через минуту замполит батальона Николай Лисовский снова поднял ребят в атаку, но сам он и ещё четверо поднявшихся первыми упали мёртвыми на грязный чужой снег. Подоспели пулемётчики, от которых столбом валил пар, они катили два «максима». Полоснули по окнам раз, другой, третий. А дом стоит, только розовая пыль кудряво стелется над улицей.

— Прямо крепость, — мотнул головой капитан Чёрный.

— Надо обходить, — сказал Малинин.

— Там тоже со всех сторон баррикады, понимаешь-нет, — сказал Ригачин.

— А ну, пулемётчики, лупи по огневым точкам противника! — крикнул комбат.

Ещё два раза поднимались в атаку, но безуспешно. Человек десять потеряли.

— Надо окружать квартал…

— Правильно…

Но никому не хотелось выскакивать на улицу, будто выбритую пулемётом.

— Разрешите мне, товарищ капитан, — сказал Николай. — Подползу и забросаю гранатами.

— Как же ты подползёшь?

— Обойду слева. Выйду из зоны обстрела. Переползу улицу…

— Одному не справиться. Кто пойдёт с Ригачиным?

— Я.

— Я.

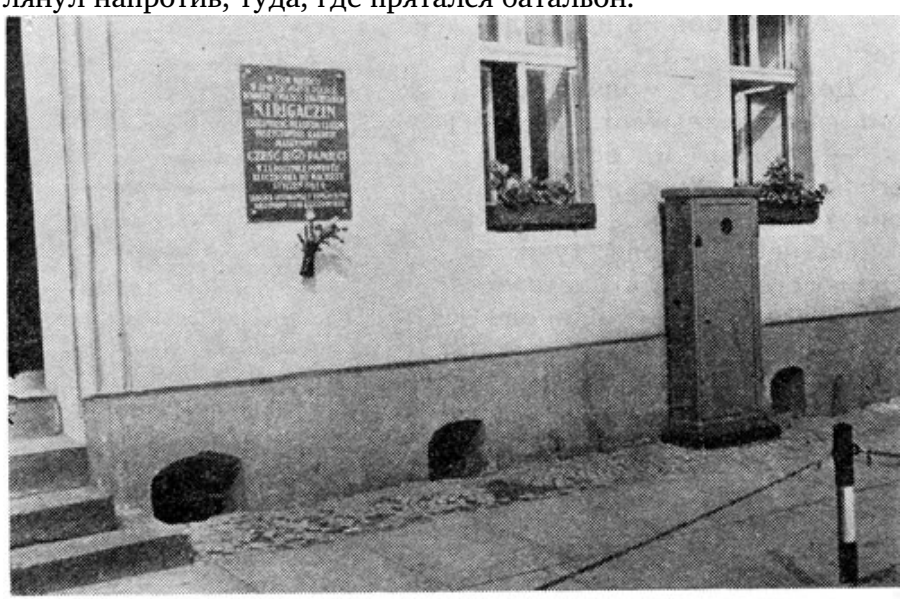
Побежали втроём — Николай, Юра Пронин и комсорг разведвзвода Никифор Бабков. Николай первым перескочил улицу. За ним Юра и Бабков. Немцы обстреляли их сверху, но с опозданием — разведчики уже были на той стороне и, пригнувшись, бежали вдоль стены к угловому дому.

Вот он — длинный, двухэтажный. Одна половина чёрная, вторая, где бил пулемёт, оштукатуренная, побеленная. Они заскочили в широкую парадную.

До амбразуры оставалось метров тридцать. Юра высунулся из-за колонны и дал по ней длинную очередь из автомата. Но бесполезно.

Николай, примерившись, бросил гранату. Она упала невдалеке от оконца, подскочила, покатилась по тротуару и взорвалась на улице. Николай бросил ещё четыре гранаты. Бросать вдоль стены было неудобно, а небольшое выступающее крыльцо закрывало окошко.

Николай выскользнул из парадного и, прижимаясь спиной к стене, стал приближаться к молчащей амбразуре. Теперь до окошка оставалось не более десяти метров. Квадратное, крохотное, почти вровень с тротуаром. Николай не сводил с него глаз. И вдруг оно забрызгало синим дымком выстрелов. Николай глянул напротив, туда, где прятался батальон.



Вот они — черные крохотные оконца подвала. Пулемет бил из среднего

— На гранату! — крикнул ему Юра.

Николай обернулся — Юра и Бабков стояли рядом. Гранату он бросил, чуть задержав в руке, бросил плавно, накатом.

— Ложись!

Осколки врезались в стену над головой, а один задел Бабкова.

— Пустяки, — крикнул тот, но встать на ногу не смог…

— Что же делать? — зашептал Юра. — Что делать, Коля? Слышишь? Почему молчишь?

Вдруг воздух над улицей заколебался, запел. Николай узнал — это били шестиствольные миномёты. Первые разрывы легли там, где была баррикада.

Поняв, что русские увязли на этом перекрёстке, немцы готовились к контратаке.

— Почему не наступаете, капитан? — подбежал запыхавшийся командир полка Ерёмин.

— Пулемёт не даёт, товарищ подполковник. Может, сейчас прикончат. Видите, вон разведчики прижались к стене рядом с амбразурой…

— Оконце маленькое и глубокое, гранатой не возьмёшь, — сказал Даиров.

— Время, время! — скрежетнул зубами Чёрный.

— Сколько у них ещё гранат? — спросил подполковник.

— Чёрт его знает, — ответил Чёрный. — Амбразура рядом, опасно гранатой…

Николай бросил последнюю гранату.

— За мной! — крикнул Даиров.

Николай услыхал «ура», обернулся и увидел, как далеко-далеко падают люди… Там Григорий, Ваня, этот, как его, Малинин, Козырев, Чёрный, Даиров, хотя постой, кто-то сказал, что лейтенант ранен…

Больше гранат нет.

Грищенко и Никитюк бросили тоже по последней.

Сейчас бы ту связку, что осталась в пшенице, у сада…

Нет больше гранат. Нет!

— За Родину!

Многие не поняли, что случилось. Даже Юра Пронин и Никифор Бабков, хотя они были рядом.

Николай упал на амбразуру. Он плотно прижался к стене и закрыл пулемёт…

«Ура» ширилось, росло, оно было громче разрывов мин, громче воя штурмовиков, низко летящих на запад.

«Ура» летело к солнцу, закрытому тяжёлыми чужими тучами.

Мемориальная доска над амбразурой, установленная в 20-ю годовщину героической смерти Николая Ригачина

По следам подвига

Когда в 1967 году в Карельском книжном издательстве вышла моя книга «Минута жизни», я стал получать много писем. Писали красные следопыты, ветераны войны. Пионеры приглашали меня в школы, работники библиотек — на читательские конференции. Задавали много вопросов, но главным всегда был один и тот же — откуда мне стал известен последний бой Николая Ригачина, там, в Польше, 21 января 1945 года?

Начну всё по порядку. Судьба Николая Ригачина вошла в мою жизнь совершенно случайно. Однажды я был в журналистской командировке в Заонежье. Назад в Петрозаводск собирался вернуться на попутном буксире, но неожиданно у него испортился двигатель, и мы остановились на ремонт в Великой Губе, неподалёку от Кижей.

На землю легла тёплая белая ночь. Я бродил по притихшему селу, сидел в лодке на берегу уснувшего озера и вдруг неожиданно вспомнил, что именно здесь жил когда-то Николай Ригачин, человек, закрывший своей грудью амбразуру немецкого пулемёта. И я словно увидел его — крепко сбитого, угловатого — вот он спускается с удочками к озеру, садится в старую лодку-кижанку. Мечтательные глаза, чистое лицо, упрямый подбородок.

Высоко в небе пролетел самолёт, и мне подумалось, может, он мечтал стать лётчиком. Так мечтали многие мальчишки до войны…

Позже сестра Николая скажет мне: «Коля все детские годы мечтал о самолётах. Хотел стать лётчиком, а стал простым пехотинцем». А я поправлю: «Стал Героем».

Вернувшись в Петрозаводск, я сразу же заглянул в краеведческий музей, затем в архив. Документов было до обидного мало — несколько вырезок из газет, фотокопия грамоты о присвоении Ригачину посмертно звания Героя Советского Союза 10 апреля 1945 года, довоенная фотография в красноармейской форме, как оказалось позже — единственная за все годы.

Начались поиски. Выяснилось, что в деревне Унице Кондопожского района живёт неродная мать Николая, Наталья Андреевна, а в Великой Губе — его сестра Наталья и брат Яков. Они и рассказали мне о детстве и юности Николая.

Вскоре из архива Министерства обороны СССР пришла копия наградного листа, в нём было краткое описание подвига Ригачина, указаны номер полка, дивизии. Читаю внимательно, и вдруг… «Призван в Красную Армию Мало-Висковским райвоенкоматом Кировоградской области УССР 22 марта 1944

года». Как же так? Ведь Ригачин уходил на срочную службу ещё до войны, из родного села.

Пишу письмо на Украину, второе — снова в архив Министерства обороны. Теперь мне известна фамилия командира 287-го стрелкового полка подполковника Ерёмина. Кстати, наградной лист с печальными словами в конце «Достоин присвоения звания Героя Советского Союза посмертно» подписали 25 февраля 1945 года командир 32-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии генерал-лейтенант Родимцев и командующий 5-й гвардейской армией гвардии генерал-полковник Жадов — известные полководцы Великой Отечественной войны.

Ответов долго не было, и вдруг в один день сразу два письма. И оба такие важные для меня. В первом сообщалось, что Ригачин Н. И. в 1941 году раненый попал в плен, бежал из Уманьского концлагеря, и его приютили жители села Злынка Мало-Висковского района. В конце письма совсем неожиданная приписка: «В Злынке живут жена и дочь товарища Ригачина». Во втором письме из архива сообщили адрес полковника в отставке Ерёмина Владимира Андриановича.

Полковник Ерёмин откликнулся сразу. В большом письме он подробно рассказал о славном боевом пути полка. Звание «гвардейский» полк получил вместе с другими частями за разгром армии Паулюса в Сталинграде. Бои за твердыню на Волге принесли полку неувядающую и до сегодняшнего дня славу. Он освобождал знаменитый Сталинградский тракторный завод, где ударные группы, обрушив стремительный удар, захватили в подвале одного из цехов командный пункт немецкого корпуса, пленив пять генералов и семь полковников. В 1943 году на воротах завода была укреплена памятная доска в честь 287-го гвардейского стрелкового полка 95-й дивизии.

Потом полк сражался на Курской дуге, освобождал от оккупантов Украину, вёл бои в Кировоградской области. Там, после освобождения Злынки и других близлежащих сёл, в батальоны полка влилось пополнение, в числе новобранцев и был Николай Ригачин.

За освобождение Украины полк был награждён орденом Александра Невского, а в боях за Польшу ему было присвоено наименование «Силезский». Город Крайцбург (Ключборк) находился в Силезии. В реляции на представление полка к наименованию «Силезский» наряду с другими подвигами был описан штурм Ключборка, героическая смерть Ригачина.

Что же сохранилось в памяти командира полка Ерёмина о том бое 21-го января 1945 года?

«…К Ключборку подошли, преследуя противника, на рассвете серого тёплого дня. Город я решил брать с ходу, ворваться в него „на пятках“ врага. Неся потери от артогня, полк зацепился за окраину. Вокруг — трупы немцев, разбитая техника.

В ходе боя во втором и третьем квартале города наступление полка было на считанные минуты приостановлено пулемётным огнём, который немцы вели из амбразуры подвала углового каменного двухэтажного дома.

Когда я выбежал на площадь, где был этот дом, то увидел трёх солдат, прижавшихся к его стене. Вдруг один из них бросился к амбразуре и закрыл её своим телом. Пулемёт замолк, полк продолжал наступать. От меня это было в каких-нибудь ста метрах.

Бой за город шёл целый день, проходил он в бешеном темпе и был очень суров. Победу в таких уличных боях решают быстрота и безостановочное наступление, и я как командир полка всё своё внимание сосредотачивал только на том, чтобы мои бойцы двигались вперёд и только вперёд…»

Позже я получил от Ерёмина десятки писем, он писал о поиске однополчан, о своих общественных делах, о том, что его недавно избрали парторгом, и только иногда между строчек жаловался на ухудшившееся здоровье.

Может ли быть дружба по письмам? Может. Она была у нас. Я чувствовал, что с каждым письмом Владимир Андрианович становился всё ближе, роднее.

Как только вышла «Минута жизни», командир полка написал мне большое, тёплое письмо.

«От всей души поздравляю Вас с замечательной повестью о трудной жизни солдата и геройской его смерти. В минувшую войну погибли миллионы, все они сознательно отдали свои жизни за всё то хорошее, что есть сегодня у нас. Так же сознательно шёл на смерть и Николай Ригачин. За память о нём, за память о его товарищах, за труд, который Вы вложили в эту повесть, от меня и от моих однополчан большое спасибо. Я связался со многими однополчанами, написал им о „Минуте жизни“, и все они шлют Вам свою благодарность.

В книге хорошие фотографии. Узнал городские ворота, тогда мне казалось, что это мост железной

дороги. Под ними я останавливался и связывался по радио с дивизией для очередного доклада о ходе боя. Посмотрел на фотографию Ригачина, помещённую в книге, и вспомнил его. Я хорошо знал его в лицо, разговаривал с ним, но вот о чём — уже не помню.

Спасибо жителям Ключборка за памятник воинам-освободителям, за мемориальную доску на доме Ригачина, увековечившую его подвиг. Хорошо, что памятник стоит в центре города на той самой площади…»

Шло время, и однажды ко Дню Победы я не получил от Ерёмина традиционного поздравления. Позже пришло короткое письмо от его дочери: «Папы больше нет. Умер внезапно, идя по улице. Сердце!»

Но вернёмся снова в далёкий и всегда близкий 45-й год. После взятия Ключборка 287-й полк вёл кровопролитные бои за Дрезден, а потом срочно был переброшен на освобождение Праги.

Полк Ерёмина прошёл славный боевой путь, форсировал реки Вислу, Прут, Нейсе, Эльбу. В 5-й гвардейской армии он по всем показателям занимал первое место.

Воистину велик был наступательный порыв наших войск. Тысячи храбрецов обессмертили свои имена, героизм солдат и офицеров Красной Армии был массовым. И всё-таки впереди наступающих бойцов часто, очень часто возникала фигура своего Данко, родного, до боли знакомого однополчанина. Он своим огненным сердцем, разорванным пулемётной очередью, звал солдат вперёд.

О подвиге Николая Ригачина вскоре узнала вся дивизия. Была напечатана статья в дивизионной газете, выпущены листовка и плакат с описанием штурма Ключборка и славного подвига Ригачина. Это придало силы многим. Батальон, в котором служил Николай, поклялся отомстить за смерть смелого разведчика. А вскоре полк облетела новая весть: ещё один храбрец повторил подвиг отважного Александра Матросова, подвиг Николая Ригачина.

Итак, передо мной из писем командира полка Ерёмина предстала история боевой части, возник тот незабываемый день в январе 45-го года.

И всё же этого было мало. Хотелось найти друзей Ригачина по разведвзводу, тех, кто был с ним рядом в последние месяцы, в тот день, во время смертельного броска. И тут приходит догадка: а что, если они сейчас живут в Злынке, ведь на фронт из села Ригачин уходил не один? Надо ехать в Злынку, надо расспросить

обо всём жену Ригачина, повидать дочь, познакомиться с теми, кто прятал от фашистских карателей нашего земляка.

И вот позади более двух тысяч километров. Было это в 1965 году. Из студёной февральской карельской зимы я приехал в раннюю украинскую весну.

Село Злынка — большое, в длину более десяти километров. Вдоль широких длинных улиц густо стоят белые уютные домики, перечёркнутые голыми ветками вишенника, над красными черепичными крышами — тонкая паутина проводов. Центр села (хочется сказать «города» — как-никак больше десяти тысяч человек населения) раскинулся на кряжике, и отсюда, с возвышенности, видны все улицы. Далеко к горизонту убегают они, прячась в неглубоких оврагах, и лишь где-то вдалеке в тонком голубоватом тумане видна ровная степь с чёрными проталинами пригретой солнцем земли.

Почти в конце села стоит домик Ульяны Фёдоровны Ригачиной. До сих пор многие в Злынке не могут привыкнуть к этой нездешней фамилии, хотя о её Миколе знают все — от школьника до старого колхозника.

— Ульяна Фёдоровна, я приехал из Карелии. Приехал, чтобы Вы рассказали о нашем земляке, о Вашем муже — Герое Советского Союза Николае Ивановиче Ригачине…

Много испытаний выпало на долю этой женщины. Горе и тяжкая работа оставили на ней свою печать. Враз после гибели Николая её пригнуло к земле, а была, соседи сказывали, стройная, гибкая, красивая.

Почерневшие, плохо слушающиеся руки медленно убирают с морщинистых щёк слезу. Выслушав с достоинством приветы из далёкого Заонежья от сестры Николая Натальи и брата Якова, от матери его Натальи Андреевны и немного успокоившись, она начинает рассказ.

— В сентябре 41-го Николай бежал из плена. Не один он такой был, многие оседали по сёлам, люди наши их к себе брали, говорили, мол, родня. Не знаю, как Коля добрёл до Злынки. Как тень был, еле ноги держали. Заросший, босой. Ноги в ранах, кашель злой донимает поминутно.

Зима пришла. Кое-какую одежонку Коле справили, да всё ж ватничек-то лёгкий; когда на дворе дровца колет или ещё что по хозяйству делает, продувает насквозь.

— Ничего, Уля, я парень северный, закалённый.

Северный… Шьёт, бывало, сапоги около окошка и вдруг будто окаменеет. Минуту молчит, полчаса — Карелию, значит, вспоминает.

— Коля, ну не тужи, поедем мы ещё в твою Карелию…

Головой встряхнёт (волосы красивые такие были) и песню незнакомую запоёт на русском языке. Всё партизан искал. Ушли как-то с товарищем, неделю пропадали. А партизан у нас тут не много было — степь кругом, где схоронишься?

Добрый был. Смеялся красиво, так, как Фрося, дочка наша. Отца никогда не видела, а передалось…

Ефросинье Николаевне двадцать один год. Вышла замуж, живёт недалеко от матери, то и дело забегает проведать. Муж Фроси высокий, статный, чернобровый, один из лучших трактористов колхоза. Сама Фрося была звеньевой в свекловодческой бригаде, но когда родилась у них дочка Танечка, попросила освободить её — у звеньевой столько дел… Танечке два года. Она бегает по чистым, толстым половикам, наряжает кукол, рисует угольком на выбеленной стене круги, похожие на солнце, конечно, когда мама этого не видит…

Стремителен бег времени. Ригачину в Ключборке было двадцать шесть лет, а теперь у него уже есть внучка. Вечный, неумолимый поток жизни.

— Расскажите про родину папы, — просит Фрося тихим голосом.

Она слушает. Глаза её, большие и серые, широко открыты — она видит нашу зелёную Карелию, озёрное Заонежье.

В Злынке немало добротных кирпичных домов, да и строится не меньше. Вот и Иван Сергеевич Ярыш, заведующий животноводческой фермой, недавно справил новоселье. Дом большой, четырёхкомнатный, кирпичный. Ещё, правда, не всё доделано, и хозяина я застал с пилой в руках среди груды досок.

— С Миколаем мы были большими приятелями. Я бежал из лагеря, пришёл в Злынку и скрывался от полицаев. У него тоже так вышло. Попросили Миколая как-то в нашу хату обувку починить. Жил он у нас неделю — так и познакомились. Спали вдвоём на сеновале, всю ночь, бывало, проговорим о нашей горькой судьбинушке. Что делать, куда идти, ведь нельзя же сидеть без дела? Он всё твердил поначалу, что станет пробиваться в свою Карелию. Мне первому признался, что его настоящая фамилия Ригачин, а не Олейников, как все его у нас в селе звали. А потом нас забрали, вместе с другими военнопленными под конвоем повели в Кировоград. И всё же нам удалось бежать. Скрывались по сёлам. Но куда денешься — пришли обратно в Злынку и с тех пор уже жили скрытно, прятались, где могли — в ямах, в погребах, в сараях, уходили в степь.

Наконец настал долгожданный день — родная Красная Армия освободила нас, а через неделю мы уже были зачислены в 287-й

полк.

— Всё простили, родные, никто не попрекнул, — сказал мне Миколай, когда мы вечером подгоняли новенькую форму, — теперь дело за нами, Ваня, доказать нам надо на поле боя…

Первый бой наш был под Яссами, ну, тут немцы бежали так, что мы еле успевали догонять их. В начале августа 1944 года мы форсировали Вислу, здесь уже было труднее. Я стал пулемётчиком, Миколай ушёл в батальонную разведку. Вскоре встретились мы с ним в боевом охранении под селом Босовицы. Помню, наши тогда от своих оторвались и ушли вперёд километров за семьдесят. Немцы пронюхали про такое дело, и нам пришлось нелегко. Вечером мы подбили три бронетранспортёра, окружили их, перебили всех фашистов. А наутро приняли бой с большим танковым десантом. Вот за эти два дня я узнал Ригачина по-настоящему. Ловкий, быстрый, сосредоточенный, осторожный. Стрелял лихо, я сам видел, как он трёх немцев скосил, а они далековато были, и суматоха вокруг сильная…

Как-то приходит он ко мне на передовую. Прыгнул в окоп.

— Комбат приказал взять «языка». Так я буду у тебя, Ваня, целые сутки местность изучать. А на следующую ночь к немцам пойдём «в гости». Когда будем возвращаться, ты нас прикрой своим «максимкой».

Миколай уже тогда командовал отделением разведчиков, хотя по званию был рядовым.

На следующую ночь они ушли и взяли разговорчивого фрица. Встретились мы с Миколаем около кухни. Радостный, фляжку достал, выпили за победу.

— Дельный «язык» оказался. К награде меня представили, к ордену Красной Звезды.

Нас из Злынки в 287-м полку было больше десяти ребят, все с одной судьбой — военнопленные. Дрались мы неплохо, как совесть велела, говорю это теперь, через двадцать лет. Нет, не стыдно нам ни перед детьми, ни перед внуками. Орденами наградили Захара Подойника, Ивана Олешкова, Григория Колесникова, меня. Погибли в боях за освобождение Польши Иван Выхристюк и Николай Ригачин.

…На том же конце Злынки, где стоит домик Ульяны, живёт плотник Григорий Никифорович Колесников, седой, с карими живыми глазами. Рассказ волнует его самого, и он не замечает, как слеза медленно сползает по щеке.

— Были мы с Николаем в одном разведвзводе. Я командир отделения, и он тоже. В Злынке мы почти не знали друг друга, а на фронте, можно сказать, братьями стали, зачастую вместе к

немцам ходили.

Хорошо помню, как наш полк стремительно подошёл к Ключборку. Было ещё темно, но уже чувствовалось: вот-вот начнёт светать. Я и Ригачин получили приказ — разведать окраины города. И наши два отделения быстро пошли вперёд. Увидели лагерные побеленные бараки, но они были пустые. Подошли к домам, стали наблюдать. Тишина, видимость неважная, а тут ещё туман пополз. Вышли на первую улицу — никого. По левую руку стоял высокий домина, кажется, двухэтажный. Мы полезли с Николаем на крышу по пожарной лестнице, хлопцы наши внизу остались.

Рассветало, ветерок подул, туман согнал. Влезли мы на крышу, стали глядеть в бинокль и видим: в центре города копошатся немцы, снуют машины с пушками на прицепе. Всюду завалы, баррикады на перекрёстках. Долго на крыше не засиживались, надо было спешить.

Когда бежали назад, столкнулись лоб в лоб с немецкими пулемётчиками. Взяли их легко, и к своим.

Скоро началась артподготовка, мы пошли на штурм города. С первых же шагов завязались уличные бои. Драться приходилось за каждый дом, а дома там крепкие, кирпичные, прямо крепости настоящие.

Николаю везло и тут — немцы так и лезли на мушку его автомата. Действовал он здорово, только диски успевал доставать из вещмешка. А немцы нам попались злющие — в основном эсэсовцы — и жизнь свою поганую стремились отдать подороже. Я не считал, конечно, но мне так кажется, что больше десятка фрицев нашли себе смерть от пуль Николая, меткого его автомата.

Бой не утихал. Коля в распахнутом ватнике, ворот гимнастёрки расстёгнут — распарился, что-то всё мне кричал, а что — разве услышишь…

Четыре дома мы с ним «обработали». Выскочили на улицу, пули роем летят. У стен домов наши жмутся. Подбежали к комбату капитану Чёрному.

— Пулемёт бьёт, и ничего нельзя сделать!

И вот тут Коля сказал. Слова его я запомнил навсегда.

— Разрешите, я попробую.

Я не видел, как он полз, как пробрался к тому пулемёту — мы начали штурмовать соседний дом. Там мы задержались долго. Когда выскочили из дома, слышим, «ура» впереди кричат, стрельба перенеслась уже к центру города. Выбежали мы на площадь, а за ней снова такие же двухэтажные дома из красного кирпича. В них тоже фашисты засели, но эти сопротивлялись уже

не так, скисли, одним словом. Мы полностью взяли верх. Вот там кто-то и сказал мне, что Николай убит. А как он погиб, на какую высоту свою взошёл — это я узнал поздним вечером…

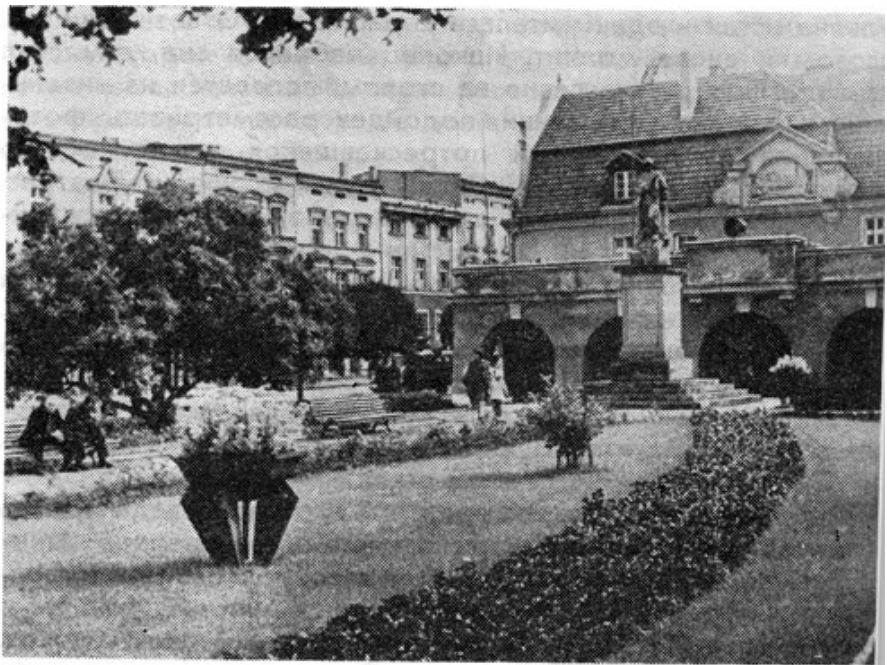
…Мы долго молчим и курим. Григорий Никифорович рассматривает фотографии, которые мне недавно прислали из Ключборка.

— Да, вот она, эта улица. Вот и дома эти, похожие друг на друга. А вот это и есть тот самый дом. Смотри ты, даже подвальные оконца так и остались. А это что?

Руки колхозного плотника дрожат ещё сильнее.

— Это Вам памятник, Григорий Никифорович, на той самой площади. Вам и всем тем, кто освобождал город. Там написано: «Советским воинам-освободителям от благодарных поляков».

— Нет, это памятник нашему Николаю, — шепчет Колесников.



Недалеко от дома с амбразурами, в скверике, стоит памятник советским воинам — освободителям Ключборка

Недалеко от дома с амбразурами, в скверике, стоит памятник советским воинам — освободителям Ключборка.

…Откуда у меня эти фотографии, как я их получил? Дело

было так.

Я написал о Ригачине знакомым коллегам-журналистам в Варшаву, они связали меня с газетой «Трибуна Опольска» (город Ключборк входит в Опольское воеводство), и вскоре в газете появился мой очерк «Герой из Заонежья». В знак благодарности редактор вместе с газетой прислал мне несколько фотографий Ключборка.

Летом 1966 года я проводил свой отпуск в международном Доме творчества журналистов на Балатоне в Венгрии. Там было много интересных людей, но я подружился с моим соседом по обеденному столу поляком Каролем Олендером, телевизионным журналистом. Как только я сказал, что живу в Карелии и работаю на Петрозаводской студии телевидения, он тут же закричал:

— Ты знаешь Ригачина? Он ваш, карельский…

— Знаю, я написал о нём книжку.

— А я снял о нём фильм! — вскочил из-за стола Кароль.

Вскоре мы выяснили, что Кароль прочитал в газете очерк «Герой из Заонежья» и по нему снял небольшой фильм для Варшавского телевидения, собкором которого он является.

Его внимательная кинокамера прошла весь последний путь Ригачина: она нашла то место, где он взял в плен немецких пулемётчиков, где были бараки концлагеря, вошла в предместье города, выбежала на площадь, увидела дом с чёрными подвальными окошками, резко приблизилась к ним, отпрянула, прижалась к стене, замерла и вдруг метнулась к среднему оконцу.

Весь день мы говорили о нашем Ригачине, то и дело удивляясь нашей встрече, радовались, что у нас такая хорошая, нужная людям работа.

Вскоре из Варшавы в Петрозаводск пришла небольшая посылка, и телезрители Карелии увидели фильм Кароля Олендера, который назывался «Бессмертная дорога Героя Ригачина». В ту же посылку Кароль вложил десяток отличных снимков Ключборка. Вот улицы старого города, вот ворота, из которых Ригачин выбежал на площадь, вот и этот добротный бюргерский дом с тёмными окнами подвала, над ними на стене укреплена мемориальная доска с надписью «В этом месте 21 января 1945 года погиб Герой Советского Союза Н. И. Ригачин, заслонив своим телом фашистский пулемёт. Честь его памяти…»

«Под мраморной доской ты видишь цветы, они тут всегда, — писал Кароль. — Цветы и на могиле Героя».

Фотография огромного кладбища: сотни могил советских воинов, погибших при освобождении Силезии, среди них — надгробие с надписью «Николай Иванович Ригачин». Номер могилы 112.

…21 января 1965 года исполнилось 20 лет с того памятного дня, как простой парень из Заонежья преградил путь смертельному пулемётному огню. На эту годовщину в Ключборк была приглашена сестра Николая Наталья Ивановна Максимова. Возвратясь домой, она рассказывала:

— Неделя, проведённая в Польше, никогда не забудется. Всюду меня встречали, как родную. Я понимала — это дань уважения всему нашему народу, нашей Карелии, моему брату.

Был большой митинг, меня попросили выступить. Слёзы застилали глаза, но я крепилась. Рассказала о детстве Коли, о Заонежье — лесном и озёрном, о зорях наших тихих, о том, что принесла народам война, призвала всех честных людей бороться за мир на земле.

Потом мы пошли на кладбище, возложили цветы. Показали мне Колину могилку, незаметно оставили меня одну…

В последующие дни было много волнующих встреч. Принимали меня в райкоме партии, в народном Совете. Не забуду, как сердечно меня встречали ребята в городском лицее. Честь отдавали, галстук пионерский повязали, подарили сделанный собственными руками герб своего города Ключборка, ключ-города, издавна принадлежавшего Польскому государству.

Приглашали меня в гости во многие семьи. И всюду ласковые слова, почётное место. Мне неловко, ведь я-то ничего не совершила. А мне говорят: «Вы сестра нашего Богатыря». Богатырь по-польски значит герой. Вот и выходило — богатырь Николай Ригачин. Правильно выходило, что тут говорить…

Вечером за мной в гостиницу заходили пионеры, и мы шли гулять по городу, по аллее имени Николая Ригачина.

Ключборк. Аллея, названная именем Н. И. Ригачина

Была я и на разных предприятиях — везде почёт и уважение. Встречалась с рабочими на птицефабрике, на мешочном заводе, в сапожной мастерской. Там мне молодые ребята поднесли в подарок сумку кожаную, сделанную специально для меня. Запомнились слова одного парнишечки: «Ваш брат Миколай, читали мы в газете, славился как знатный мастер-сапожник. Был бы он жив, мы бы ему такие сапоги стачали, что во всём

воеводстве завидовали бы…»

Да, много хорошего на сердце легло — буду о встречах в Польше всем нашим людям рассказывать. В больнице, где работаю, выступлю, ну и уж, конечно, в нашей Великогубской школе…

Школа в Великой Губе свято чтит память земляка. Пионерская дружина с 1968 года, первая в нашей республике, носит имя Николая Ригачина. Много добрых дел на счету у ребят. Каждый год они собирают 12—14 тонн металлолома, 3—4 тонны макулатуры, перевыполняют задание по сдаче золы на удобрение для совхозных полей. Тут они почти всегда впереди, лучшие в своём Медвежьегорском районе. За сбор золы дружина награждалась грамотами, а недавно её премировали фотоаппаратом.

Не раз великогубские ребята были первыми в районе и за свои прекрасные цветники, в которых утопает летом родная школа. С огоньком, дружно трудятся они в своих теплицах, выращивая помидоры, огурцы. Рассадой снабжают односельчан. Теплица даёт немалый доход, и заработанные деньги ребята тратят на дело. Они купили музыкальные инструменты для школьного ансамбля, несколько раз ездили по местам Боевой Славы.

Старшеклассники каждое лето создают в селе производственную бригаду, берут на себя всю заботу о том, чтобы вырастить хороший урожай турнепса на отведённых им пяти гектарах. Сами управляют трактором, заготовляют сено совхозу. В своём письме пионеры писали мне: «Мы делаем всё, чтобы быть достойными имени Николая Ригачина, мы гордимся, что он жил в нашем селе, работал в сапожной мастерской и был умелым мастером. Многие люди постарше у нас помнят его и говорят, что у Николая Ивановича были золотые руки…»

А недавно пионервожатая Татьяна Ивановна Гагарина сообщила мне приятную весть: школьным пионерским дружинам в деревнях Великая Нива и Шуньга также присвоено имя Ригачина.

> «Мы вызвали на соревнование пионеров Шуньги. Пригласили их к себе 22-го мая на традиционный сбор, посвящённый дню рождения Николая Ивановича Ригачина. В этот день у нас в школе всегда большой праздник. Обычно мы подводим итоги учёбы за полгода, награждаем лучших. А нынче поглядим, какая из школ впереди. Все наши ребята уверены, что первое место будет у нас».

Имя Николая Ригачина носят и пионерская дружина в селе Злынка, и дружина 7-й средней школы города Пензы, и отряд в 15-й школе города Курска.

Каждый год 21 января ребята этих школ проводят День Памяти Николая Ригачина. Торжественная линейка по традиции проходит в музейном уголке у портрета Героя. В этот день октябрят принимают в пионеры.

Из многих школ страны, из профессионально-технических училищ получил я письма с просьбой подробнее рассказать о Ригачине, выслать его фотографию, адреса родных, однополчан.

По крупицам красные следопыты собирают материалы о Героях Великой Отечественной войны, о наших земляках, о Ригачине. Славное дело придумала пионерия — создание школьных музеев боевой и трудовой славы. Во многих школах нашей республики, в других городах и сёлах страны есть уголки Героев, повторивших подвиг Александра Матросова, а, значит, там есть и наш Ригачин.

Большой музей создали школьники посёлка Казачья Лопань, что близ Харькова. Руководил работой ветеран войны, учитель истории, верный наставник молодёжи неугомонный Аркадий Феликсович Иоселевич, горячий патриот славной 95-й дивизии.

Интересное совпадение — 24 октября 1941 года бойцы дивизии стойко обороняли Казачью Лопань, но силы были слишком неравными, и по приказу командования они отступили, а 9-го августа 1943 года они же освобождали посёлок от фашистских захватчиков. Вот почему здесь проводятся традиционные встречи ветеранов, вот почему в средней школе посёлка создан музей дивизии. Среди сотен экспонатов — письма, фотографии, воспоминания фронтовиков.

Отдельный стенд в музее посвящён Николаю Ригачину. На нём большой портрет Героя, фотографии Ключборка, вырезки из польских газет, снимки однополчан Ригачина, другие фотографии, запечатлевшие встречи ветеранов 95-й гвардейской стрелковой Полтавской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии. Неизменным их участником бывает командир дивизии генерал-майор в отставке А. И. Олейников. На встречах ветераны первым долгом вспоминают павших, называют имена храбрейших из храбрых, в их числе дорогое имя Николая Ригачина.

Сразу после выхода в свет «Минуты жизни» у меня завязалась дружба с пионерами из средней школы села Злынка. Ребята писали, как они борются за то, чтобы их пионерской дружине присвоили имя Ригачина. Писали, что регулярно помогают родному колхозу, рассказывали о тех, кто решил остаться на

ферме после окончания десятилетки, как общими усилиями подтянули в классах отстающих.

Много лет нашей переписке с ребятами из Злынки, много лет моей дружбе с учительницей, ныне пенсионеркой Галиной Савельевной Кухаревской. Вот уже 20 лет я регулярно получаю от неё письма с сельскими новостями. Из них я знаю, что дочь Ригачина Фрося и её муж Владимир Шевченко трудятся в колхозе «Рассвет». Владимир Александрович хороший механизатор, уважаемый на селе человек. У них растёт сын, в честь деда его назвали Николаем. А старшая дочка Танечка уже окончила 10 классов и вышла замуж. Как быстро летит время — внучка Николая Ригачина уже замужем!

Но самым радостным стало письмо, в котором была большая фотография — в белом цветении яблонь, вишен стоит новый кирпичный дом под шиферной крышей.

«Глядите, какую ладную хату построил наш колхоз семье Героя. Жить им теперь поживать да добра наживать», — писала Кухаревская.

С этим письмом я поспешил в Президиум Верховного Совета Карельской АССР и в наш Союз писателей, которые ходатайствовали о строительстве нового дома для семьи Ригачина. Есть у них теперь просторный дом с верандой, есть и молодой сад.

«Колхозы в нашей Злынке, а их теперь у нас два, значительно окрепли экономически, — писала Кухаревская. — Многие колхозники ставят себе новые дома. Появилось в селе стабильное электричество от Кременчугской ГЭС, и теперь почти в каждом доме есть телевизор, радиола, магнитофон, стиральная машина. Мотоциклисты стали вытеснять велосипедистов. За последние пять лет наша Злынка стала неузнаваемой. Ригачины живут хорошо. Фотографию дома, который поставил им колхоз „Рассвет“, я вам посылаю. Порадуйтесь вместе со всеми нами…»

Это письмо датировано весной 1968 года. С тех пор прошло почти 20 лет. Отметили в Злынке, как и повсюду, 25-летие, 30-летие, 40-летие со дня Великой Победы. Только не дожила до 40-летия Ульяна Фёдоровна, подломили её раньше времени тяжкие годы. А жизнь в Злынке стала ещё лучше. Не село, а прямо-таки город!

…Четверть века существует в столице Карелии улица имени Ригачина. Прежде была она Болотной — название справедливое и говорило само за себя. Теперь нет и в помине даже крохотного болотца на улице Героя. Длинная магистраль протянулась по берегу Онежского озера.

Среди предприятий, расположенных на онежском берегу —

судоверфь.

Там, на судоверфи, встретил весну 1985 года средний рыболовный траулер «Николай Ригачин». Стоял он у причала на капитальном ремонте. Его капитан, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Василий Трофимович Захаров рассказал мне историю корабля.

Средний рыболовный траулер «Николай Ригачин» на капитальном ремонте в Петрозаводске

Построен траулер в 1960 году на Клайпедском судостроительном заводе «Балтия» и в том же году был приписан к Беломорской базе гослова, которая ходатайствовала о присвоении судну имени славного земляка.

«Николай Ригачин» трудился в Баренцевом море, ходил в Атлантику, ловил треску, палтуса, зубатку, морского окуня, атлантическую сельдь. За 20 лет промысловой жизни экипаж «Николая Ригачина» выловил 80 тысяч тонн рыбы! Кораблём командовали наши лучшие капитаны — Постников, Вербовский, Сверчков. Урожайными для траулера были 1981, 1982, 1983 годы — по 12 тысяч тонн рыбы в год! Помог рыбакам не только передовой прогрессивный кошельковый лов, который они быстро освоили, но и имя, крупными буквами написанное на борту.

Имя Ригачина придавало сил экипажу в социалистическом соревновании, заставляло быть в числе передовых. В 1979 году экипаж «Николая Ригачина» за трудовую доблесть в 10-й пятилетке был занесён в Книгу почёта Карелии.

Жизнь корабля, в общем-то, не очень долгая. Значит, надо успеть сделать как можно больше. Приходят на флот новые

корабли, идут дальше, ловят глубже, берут больше. Работают рыбаки всегда с азартом — надо успеть, пока идёт косяк. Смахивают крупные капли пота со лба. Как хочется пить, как хочется вкусной водицы из чистого ручья! И вот эту очень желанную свежую воду будет теперь доставлять кораблям на промысел «Николай Ригачин». После капитального ремонта он стал водолеем — так называют эти суда старые моряки. Не ушёл, значит, на пенсию, продолжает трудиться.

Теперь в его вкладных цистернах будет плескаться 45 тонн свежей питьевой воды, а ещё «Ригачин» возьмёт на борт необходимые запасные части, сети, и, конечно же, долгожданную почту. Ну, а уж если очень надо будет помочь промысловым судам — попадутся им необъятные косяки рыбы — то сможет, как когда-то, тряхнуть стариной — на траулере сохранено промышленное рыболовецкое вооружение.

— В общем, не подведём. С уверенностью могу сказать — ждите только добрых вестей от «Ригачина», — заверил капитан перед отходом в Мурманск.

…Память о нашем храбром земляке ширится и крепнет. В Медвежьегорске появилась улица Ригачина, его имя присвоено пионерским дружинам Боровской средней школы в Калевальском районе и школы посёлка Куркиёки Лахденпохского района. В Ключборке к 60-й годовщине Октября имя Николая Ивановича Ригачина присвоено начальной школе № 2. Министерство связи СССР выпустило почтовый конверт, посвящённый Герою Советского Союза Н. И. Ригачину.

Далеко отодвинулись от нас годы войны, но никто не вправе забывать то, что было, забывать тех, кто отдал жизнь за наш сегодняшний мирный день. Отвагой своей живут в нашем сердце герои Великой Отечественной войны. Подлинное величие духа проявил наш Ригачин. Перед лицом смерти принял он, не колеблясь, решение, на которое может отважиться лишь человек, для которого Отечество, друзья-однополчане, приближенный хоть на миг день Великой Победы дороже всего.

Николай Ригачин в главную минуту жизни своей презрел смерть во имя Жизни. Бессмертно в веках дело, которое поднимает человека на такой подвиг. И пока есть на земле понятия «долг», «совесть», «честь», «Отчизна», подвиг Николая Ригачина не будет забыт в нашем народе.

1986

Об издании

Анатолий Алексеевич Гордиенко
МИНУТА ЖИЗНИ
Повесть о Герое Советского Союза Николае Ригачине

Редактор И. И. Куроптева
Художник М. А. Сузи
Художественный редактор Л. Н. Дегтярев
Технический редактор Э. С. Иванова
Корректор Т. Н. Казакова

Сдано в набор 18.06.85. Подписано в печать 14.11.85. Тираж 15000 экз. Цена 20 коп.
Издательство «Карелия».

notes

Примечания

1

Чекать — ждать (*укр.*).

2

Чапыжник — густой кустарник.

З

Картопелька — картофель (*укр.*).

4

Кияшки — вареная кукуруза в початках (*укр.*).

5

Омшаник — утеплённый погреб для зимовки пчёл (*укр.*).

Жолнежи — военные, солдаты (*польск.*).